

interaction

интеракция

interview

интервью

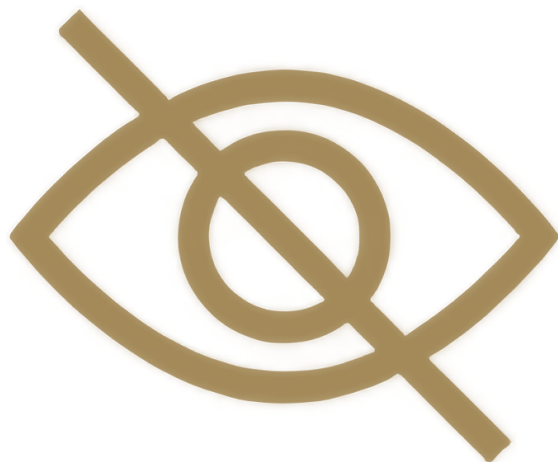
3' 2026



interpretation

интерпретация

INTER



SENSITIVE CONTENT



Федеральный научно-исследовательский
социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
Российское общество социологов (РОС)

Интеракция. Интервью. Интерпретация
2026. Том 18. № 3
Interaction. Interview. Interpretation
2026. Volume 18. No. 3

ISSN (Online) 2687-0401

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 2002 г.

Выходит 4 раза в год

2026. Том 18. № 3

DOI: 10.19181/inter.2026.18.3

EDN: DNEZTQ

Учредители Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
Российское общество социологов (РОС)

Издатель Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)

Главный редактор	В. В. Семенова
Редакция	А. В. Ваньке Е. Ю. Рождественская А. В. Стрельникова И. Н. Тартаковская
Технический редактор	О. Н. Салангина
Компьютерная верстка	В. Е. Кудымов
Корректор	А. Н. Кокарева

Журнал включен в базу [РИНЦ](#), перечень ВАК,
индексируется в международной базе данных RSCI.

Журнал входит в [Перечень](#) ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Журнал открытого доступа.

Доступ к контенту журнала бесплатный.

Плата за публикацию с авторов не взимается.



Контент доступен по лицензии
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Все выпуски журнала размещаются в открытом доступе
на официальном сайте журнала с момента публикации: <https://www.inter-fnisc.ru/>

Иллюстрация на обложке:
Источник изображения: [Shutterstock](#)



9 772687 040006 >

© Интеракция. Интервью. Интерпретация, 2026
© Interaction. Interview. Interpretation, 2026

Редакционная коллегия

Главный редактор

СЕМЕНОВА Виктория Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук; главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), victoria-sem@yandex.ru

Редакция

ВАНЬКЕ Александрина Владимировна — кандидат социологических наук, доктор философии, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), vanke@inbox.ru

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Юрьевна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rigasvaverite@gmail.com

СТРЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна — кандидат социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), astrelnikova@hse.ru

ТАРТАКОВСКАЯ Ирина Наумовна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Редакционная коллегия

АБРАМОВ Роман Николаевич — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rabramov@hse.ru

БРЕКНЕР Розвита — доктор философии, доцент, Университет Вены (Вена, Австрия), roswitha.breckner@univie.ac.at

ВАНЬКЕ Александрина Владимировна — кандидат социологических наук, доктор философии, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), vanke@inbox.ru

ДЭВИС Кэти — доктор философии, профессор, Амстердамский свободный университет (Амстердам, Нидерланды), k.e.davis@vu.nl

ИНОВЛОКИ Лена — доктор философии, профессор, Франкфуртский университет прикладных наук (Франкфурт-на-Майне, Германия), linowlocki@fb4.fra-uas.de

КОЗИНА Ирина Марковна — кандидат социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), ikozina@hse.ru

КОСЕЛА Кшиштоф — доктор социологических наук, профессор, Варшавский университет (Варшава, Польша), k.kosela@is.uw.edu.pl

ОМЕЛЬЧЕНКО Елена Леонидовна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия), omelchenkoe@mail.ru

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Юрьевна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rigasvaverite@gmail.com

СЕМЕНОВА Виктория Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук; главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), victoria-sem@yandex.ru

- СТРЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна** — кандидат социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), astrelnikova@hse.ru
- СУШКО Павел Евгеньевич** — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), sushkope@mail.ru
- ТАРТАКОВСКАЯ Ирина Наумовна** — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), I_Tartakovskaya@yahoo.com
- ЧЕРНОВА Жанна Владимировна** — доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник СИ РАН — филиал ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург, Россия), chernova30@mail.ru
- ЧЕРНЫШ Михаил Федорович** — член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия), mfche@yandex.ru
- ЧЕРНЯЕВА Татьяна Ивановна** — доктор социологических наук, профессор, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия), tatcher@yandex.ru
- ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Елена Ростиславовна** — доктор социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), eiarskaia@hse.ru

Editorial board

Editor-in-Chief

Victoria V. SEMENOVA — Doctor of Sociology, Professor, State Academic University for the Humanities; chief researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), victoria-sem@yandex.ru

Editorial Team

Elena Yu. ROZHDESTVENSKAYA — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rigasvaverite@gmail.com

Anna V. STRELNIKOVA — Candidate of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), astrelnikova@hse.ru

Irina N. TARTAKOVSKAYA — Candidate of Sociology, Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Alexandrina V. VANKE — Candidate of Sociology, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vanke@inbox.ru

Editorial Board

Roman N. ABRAMOV — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rabramov@hse.ru

Roswitha BRECKNER — PhD, Associate Professor, University of Vienna (Vienna, Austria), roswitha.breckner@univie.ac.at

Zhanna V. CHERNOVA — Doctor of Sociology, Leading researcher, SI RAS — FCTAS RAS (St. Petersburg, Russia), chernova30@mail.ru

Tatiana I. CHERNYAeva — Doctor of Sociology, Professor, Saratov State University (Saratov, Russia), tatcher@yandex.ru

Michael F. CHERNYSH — Corresponding Member, Doctor of Sociology, Director, FCTAS RAS (Moscow, Russia), mfche@yandex.ru

Kathy DAVIS — PhD, Professor, Free University Amsterdam (Amsterdam, Netherlands), k.e.davis@vu.nl

Elena R. IARSKAIA-SMIRNOVA — Doctor of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), eiarskaia@hse.ru

Lena INOWLOCKI — PhD, Professor, Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt-am-Main, Germany), linowlocki@fb4.fra-uas.de

Krzysztof KOSELA — Doctor of Sociology, Professor, University of Warsaw (Warsaw, Poland), k.kosela@is.uw.edu.pl

Irina M. KOZINA — Candidate of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ikozina@hse.ru

Elena L. OMELCHENKO — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg (St. Petersburg, Russia), omelchenkoe@mail.ru

Victoria V. SEMENOVA — Doctor of Sociology, Professor, State Academic University for the Humanities; chief researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), victoria-sem@yandex.ru

Pavel E. SUSHKO — Candidate of Sociology, Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), sushkope@mail.ru

Elena Yu. ROZHDESTVENSKAYA — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rigasvaverite@gmail.com

Anna V. STRELNIKOVA — Candidate of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), astrelnikova@hse.ru

Irina N. TARTAKOVSKAYA — Candidate of Sociology, Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Alexandrina V. VANKE — Candidate of Sociology, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vanke@inbox.ru

Содержание

Письмо редактора	9
Исследовательская рефлексия	11
<i>Ольга Бредникова</i>	
Услышать невысказанное: настройка сенситивной методологии	11
Биография номера	29
<i>Анна Стрельникова, Мария Кремер</i>	
Покидать, оставлять, уезжать: миграция и чувство дома	29
Исследовательские дискурсы: субъектность исследователя	42
<i>Дарья Тукина</i>	
Стерильность невозможна: риски включенного наблюдения в медицине	42
<i>Анастасия Новкунская, Елена Богомякова</i>	
Как изучать то, о чем не говорят? Методологические вызовы сенситивных исследований в социологии здоровья и медицины	62
<i>Андрей Чекрыгин</i>	
«Работа мертвых»: как устроены социальные похороны бездомных в Санкт-Петербурге	90

Contents

Editor's Letter	9
Research Reflection	11
<i>Olga Brednikova</i>	
Hearing the Unspoken: Tuning a Sensitive Methodology	11
Biography of the Issue.....	29
<i>Anna Strelnikova, Maria Kremer</i>	
Leaving, Abandoning, and Going Away: Migration and Feeling of Home.....	29
Research discourses: subjectivity of the researcher.....	42
<i>Daria Tukina</i>	
Sterility Is Impossible: The Risks of Participant Observation in Medical Settings.....	42
<i>Anastasia Novkunskeya, Elena Bogomiagkova</i>	
How to Study What Is Not Talked About? Methodological Challenges of Sensitive Research in Sociology of Health and Medicine	62
<i>Andrey Chekrygin</i>	
"The Work of the Dead": How Social Funerals for the Homeless Work in St. Petersburg.....	90



Письмо редактора

Как и было запланировано, урожайная тема «Сенситивных полей» разворачивается и в осеннем номере «Интера». Авторы продолжают делиться опытом работы с нетипичными темами и объектами, а также размышляют о том, как точки соприкосновения исследователя и исследуемого обнажают неочевидную сенситивность повседневного опыта.

Открывает номер исследовательская рефлексия Ольги Бредниковой. Автор формулирует тезис о том, что тонкая настройка методологических инструментов имеет решающее значение для качественного исследования, так как любое поле имеет сенситивные слои, если признать «...телесную укорененность опыта, его аффективную насыщенность и принципиальную неполноту вербализации». В связи с этим оказываются востребованными мультисенсорная этнография и автоэтнография, дающие возможность для пошаговой интерпретации полевой ситуации, находясь внутри нее. При этом само положение «внутри ситуации» способствует усилению рефлексии о применяемых методах, что в дальнейшем подтверждают и другие авторы данного выпуска журнала.

Биография номера в этот раз дает возможность познакомиться с аннотированным интервью о восприятии утраченного дома, о территориальной идентичности и смыслах дома в современном мире как с позиций личного опыта информантки, так и с точки зрения материалов арт-проекта, высвечивающего темпоральные и пространственные эффекты социальных трансформаций (Анна Стрельникова, Мария Кремер). В неявном виде прослеживается тема травмы исследователя и его переживаний, что в итоге способствует более вовлеченной работе над проектом.

В рубрике «Исследовательские дискурсы: субъектность исследователя» встретились тексты о закрытости поля и одновременно о включенности исследователя. Андрей Чекрыгин этнографически анализирует то, как устроены социальные похороны бездомных в Санкт-Петербурге. Анастасия Новкунская и Елена Богомякова предлагают к рассмотрению методологические вызовы исследований в социологии здоровья и медицины, размышляя о том, что «расхождение между исследовательской интуицией и наличием эмпирических данных, с одной стороны, является отправной точкой для любого исследовательского вопроса, а с другой — создает пространство неопределенности и неуверенности, двигаться в котором порой некомфортно самим исследователям». Дарья Тукина продолжает медицинскую тематику, анализируя свой опыт работы медицинской сестрой и обращая особое внимание на то, что плохо рефлексруется или вовсе не поддается проговариванию: страхи исследователя-новичка в ситуации включенности в медицинскую практику, телесно переживаемый риск и сенсорная избирательность при взаимодействии

с телом пациента. Самые первые полевые записи в дневнике исследователя, как подчеркивает автор, дают возможность уловить переход от глубокого проживания к рутинизации опыта и снижению уровня саморефлексии.

Желаем интересного чтения!

Редактор номера,
Анна Стрельникова

Исследовательская рефлексия



DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.1

EDN: XVCIWY

Услышать невысказанное: настройка чувствительной методологии

Ссылка для цитирования:

Бредникова О. Е. Услышать невысказанное: настройка чувствительной методологии // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 3. С. 11–28. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.1> EDN: XVCIWY

For citation:

Brednikova O. E. (2026) Hearing the Unspoken: Tuning a Sensitive Methodology. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 3. P. 11–28. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.1>



Бредникова Ольга Евгеньевна

Социологический институт РАН —
филиал ФНИСЦ РАН,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: bred8@yandex.ru

Чувствительность в исследовании может быть сосредоточена не только в объекте изучения, но и в способе взаимодействия исследователя и исследуемого. В фокусе статьи — чувствительная методология, под которой понимаются методы и подходы, предполагающие особую чувствительность к телесному опыту и эмоциональным переживаниям исследуемых. Чувствительная методология дополняет и расширяет общую методологию качественных исследований и актуальна там, где исследователь сталкивается с барьерами вербализации. Она также позволяет проявить неявные исследовательские темы и фокусы.

В статье, опираясь на собственный полевой опыт, автор подробно рассматривает два подхода чувствительной методологии — мультисенсорную этнографию и мягкий методологический подход. Мультисенсорная этнография включает в анализ чувственный опыт человека (основанный на запахах, звуках, тактильности), через который информанты часто переживают и интерпретируют социальный опыт. Мягкий методологический подход, предполагающий телесную вовлеченность, медленный темп в исследовании и соблюдение принципа реципрокности, открывает доступ к невысказанному через присутствие и совместную деятельность. В данном случае знание

рождается не в режиме быстрой добычи данных, а в длительном разделяемом опыте.

Автором вводятся метафоры этих подходов: со-переживание как разделение чувственного и эмоционального опыта и со-бытие как совместность в исследовании. Эти метафоры отражают и позицию исследователя в поле, и способ получения знания. Систематическая рефлексия опыта совместности, собственных переживаний и ощущений, их анализ и интерпретация превращают фоновый и субъективный шум в полноценные академические данные.

Ключевые слова: сенситивная методология; мультисенсорная этнография; мягкий методологический подход; автоэтнография; полевое исследование

Введение

Текст о сенситивных полях стоит начать с одной из историй, коих было немало на моем исследовательском пути. Например, про то, как информантка — молодая женщина Гульнара, которая приехала в поисках работы в Петербург из одной из стран Центральной Азии, много и тяжело работала в клининговой компании, — убедительно рассказывала мне, что почти каждый месяц ходит с подругами в Эрмитаж. При этом мы обе знали, что она привирает, но упорно делали вид, что все нормально. Или про то, как во время исследования беженцев мне очень хотелось отвести Людмилу, бежавшую от войны из Мариуполя летом 2022 года, в кафе перекусить, а потом уже вести наши разговоры. Однако шестидесятилетняя женщина отказывалась и упорно вела меня в магазин «Улыбка радуги», чтобы купить дезодорант, который мне, откровенно говоря, не представлялся предметом первой необходимости. Лишь на другой встрече, с другой информанткой, тоже пережившей опыт беженства, я поняла причину такого приоритета, когда услышала историю о том, как тяжело возвращаться в нормальную жизнь после месяца жизни в подвале. И как сложно общаться с людьми, когда думаешь, что выглядишь не так или от тебя плохо пахнет. В ситуации, когда обнулились важные социальные статусы и роли, агамбеновская «голая жизнь» переживается не менее тяжело, чем голод [Агамбен, 2011].

Однако мне хочется рассказать другую историю, из поля, которое сложно назвать сенситивным. В фокусе этого исследования были разные районы Петербурга, и информанты рассказывали о том, чем им нравится или не нравится жить в том или ином районе. Согласно разработанной методологии, сначала команда исследователей брала интервью у жителей города, а затем предполагалось обратиться к методу go along и прогуляться по району проживания с теми же людьми, с которыми ранее проходили интервью. Информантка, молодая женщина, назовем ее Аллой, водила меня по местам, про которые рассказывала в интервью, и наша прогулка была своего рода иллюстрацией к тому, что я уже слышала. Спустя полчаса нашего хождения



по району у меня вдруг включилась иная оптика. Из подъезда одного дома вдруг пахло очень знакомо — сыростью, кошками, какой-то едой. Этот запах трудно разложить на составляющие. И я вспомнила свои ощущения из детства: так пахло в доме моей родственницы, которая жила в хрущевке, правда не в Петербурге, а в маленьком эстонском городке. Вместе с этим запахом на меня накатило совершенно определенное настроение — какой-то вселенской тоски и безнадеги. Ровно об этом мне пыталась сказать Алла, в то время как я активно пыталась заставить ее рационализировать свои ощущения: почему конкретно ей не нравятся этот район и эти дома? Наблюдением о своих ощущениях я поделилась с информанткой, и после этого разговор у нас пошел несколько по иному пути. Поделенный сенсуальный опыт как будто открыл новую дверь в исследовании, и мы стали говорить про запахи, звуки, цвет домов — про атмосферу места, а не про отсутствующие магазины и спортклубы.

Эти кейсы, на мой взгляд, хорошо демонстрируют недосказанность и определенное недопонимание между исследователем и информантом. Они свидетельствуют или о неопытности исследователя, который не слышит того, что в силу разных причин сложно высказать информанту, или же об отсутствии у него нужного инструментария. В первом случае фантазии Гульнары, признаюсь, меня раздражали. Я с тоской слушала ее, не перебивая, не уточняя и, конечно же, не разоблачая. Просто терпеливо ждала, пока информантка выговорится, и размышляла о том, что мне, к сожалению, не удалось выстроить с ней доверительные отношения. Сейчас, с высоты опыта, я понимаю, что не смогла услышать Гульнару, которая таким способом пыталась что-то донести до меня. Мне следовало прислушаться к такой поломке в ходе интервью и попытаться разобраться с ее причинами. Во втором кейсе интервью с Людмилой не приблизило меня к пониманию того, что такое беженство. Мы много говорили о лишениях, которые испытывает человек, вынужденный бежать от войны, однако за пределами наших разговоров осталась проблема возвращения в обычную жизнь, в частности, телесный опыт. Я не сразу осознала его значимость и сложности рефлексии об этом. В последнем примере мне все-таки удалось услышать информантку. Это произошло через определенную сенсуальную со-настройку в тот момент, когда в наше общение я включила свой собственный опыт.

Обычно под сенситивными полями понимают исследование стигматизированных или табуированных тем, например, смерти, насилия, психических заболеваний, сексуальности. Или же в фокусе исследования оказываются уязвимые и маргинализированные группы — дети, беженцы и мигранты, люди с инвалидностью, меньшинства. Здесь перед исследователем помимо научной может стоять и политическая задача: дать голос невидимой и уязвимой группе. От него требуется глубокая рефлексия относительно своей позиции, своего влияния на поле и даже возможных последствий публикации результатов. Сенситивными могут стать исследования зон конфликтов и нестабильности, закрытых институтов или деятельности, связанной с правовыми рисками. Такие исследования требуют прежде всего повышенного внимания к этическим

вопросам и проблемам, в частности, к конфиденциальности и анонимности собранной информации. В данном случае исследования разворачиваются в поле множества моральных дилемм, а этические соображения могут даже превалировать над чисто научными целями (см., например, [Возьянов, Гучинова, Дубек и др., 2021]).

В статье я предлагаю посмотреть на чувствительные поля не из перспективы сложной темы или уязвимости исследуемых групп, но с точки зрения методологии, которая позволит уловить умалчиваемое, плохо рефлекслируемое или трудно вербализуемое. В такой методологии чувствительность сосредоточена не в объекте изучения, а в точке соприкосновения исследователя с исследуемым. Более того, я полагаю, что любое поле можно рассматривать как чувствительное, если мы не только признаем многомерность и телесную укорененность опыта информантов, но и подойдем к его исследованию с чувствительной методологией. Под чувствительной методологией здесь я буду понимать использование исследовательских методов и подходов, которые позволяют вскрыть то, что невозможно увидеть и услышать в простом интервью или наблюдении, пусть оно будет даже участвующим. Речь пойдет о мультисенсорной этнографии и мягком методологическом подходе, которые предполагают особую чувствительность к телесному опыту исследуемых и их эмоциональным переживаниям, а активное включение в анализ опыта и переживаний самого исследователя помогают их уловить.

Безусловно, в качественной методологии рефлексия и эмпатия исследователя являются важными методологическими инструментами, однако зачастую они в большей мере проявляют себя как коммуникативные компетенции. В предлагаемом подходе я делаю попытку пересмотреть их роль в исследовании, превратив в систематические процедуры анализа. Здесь же следует заметить, что чувствительная методология актуальна не для всех качественных исследований. Она важна там, где исследователь сталкивается с барьерами вербализации, возникающими по ряду причин, среди которых не только табу, стыд, травма или институциональное молчание, но и взаимная нехватка языковых средств у исследователя и информанта. Кроме того, чувствительная методология помогает настроить неочевидные исследовательские фокусы, которые зачастую сложно обнаружить и актуализировать, не включая в исследование саморефлексию. При этом предложенный подход скорее дополняет и расширяет общую методологию качественных исследований, но не заменяет ее.

Итак, в данной статье я хочу, опираясь на собственный полевой опыт, поразмышлять над эвристическим потенциалом мультисенсорной этнографии и мягкого методологического подхода, а также над тем, как они помогают услышать невысказанное и уловить актуальные исследовательские темы и фокусы. Мультисенсорная этнография рассматривается в связке с автоэтнографией, потому как чувствительность к собственным телесным и эмоциональным переживаниям позволяет исследователю увидеть и лучше понять переживания исследуемого.



Высказанное телом: со-переживание в мультисенсорной этнографии

Любой социальный опыт, будь то миграция, политическое решение или повседневная рутина, имеет телесное измерение, он всегда телесно воплощен и прочувствован. При этом чувства и эмоции не выступают фоном, а встроены в саму ткань социальной реальности. Игнорирование телесной и чувственной перспектив не просто обедняет исследование, но не позволяет увидеть комплексность изучаемого феномена. При этом сенсорные переживания сложно поддаются вербализации. Это связано прежде всего с долингвистической природой ощущений: многие наши чувства возникают до их осмысления в словах [Majid, Levinson, 2011]. В то же время сенсорный опыт, несмотря на определенную скудость языковых средств, а также индивидуальность переживаний, культурно обусловлен и глубоко социализирован, и потому его возможно изучать в том числе и через анализ номинаций, ибо индивидуальное переживание становится социально разделяемым и понятным в процессе взаимодействий. Один из подходов, который позволяет уловить чувственный и телесный опыт исследуемого, — это подход, предложенный мультисенсорной этнографией. Он ставит в центр внимания чувственный опыт (восприятие звуков, запахов, вкуса, тактильные ощущения) при изучении социальных и культурных практик. Как писала российская исследовательница Полина Ваневская, сенсорная этнография «выступает методологическим ресурсом понимания жизненных миров людей, а также специфики их отношений с материальными объектами и средой повседневного опыта» [Ваневская, 2021: 18]. Этот подход, безусловно, не нов, однако пока еще не стал исследовательским мейнстримом.

Суть сенсорной этнографии состоит в изучении жизненного мира человека через непосредственное телесное и чувственное взаимодействие с окружением. В работе австралийского социолога Сары Пинк «Делая сенсорную этнографию» выстраиваются методологические основания, систематизируются подходы и даются практически советы по ее применению в эмпирических исследованиях [Pink, 2015]. Согласно С. Пинк, этнография — это практика, вовлекающая всего исследователя: его тело, чувства, эмоции и рефлексивность. Исследовательница говорит о чувственности как о целостном восприятии мира, где все чувства взаимосвязаны. Она вводит понятие эмпатирования, которое отражает факт, что все мы встроены в сложную сеть сенсорных отношений, куда включены другие люди, места, атмосфера, воспоминания и наши собственные тела, и в данном случае сенсорная этнография — это исследование процессов взаимного эмпатирования.

Появление и распространение в социологии и антропологии сенсорных методов и подходов мультисенсорной этнографии ныне уже расценивается как сенсорный поворот. Так, в статье Дэвида Хоуза, выступающей введением к специальному выпуску журнала “The Senses and Society” и посвященной мультисенсорной этнографии, прослеживается эволюция антропологических и социологических исследований от текстоцентричных моделей к современной

мультисенсорной этнографии [Howes, 2025]. Хоуз вводит ключевое различие между сенсорной и мультисенсорной этнографиями. Последняя, по мнению автора, выступает в качестве более широкой парадигмы и является мультимодальной. Методология мультисенсорной этнографии — это со-участие в чувственном, или разделение чувственного.

В работе Карен Накамуры «Как понять сенсорную этнографию: сенсуальный и мультисенсорный подходы» [Nakamura, 2013] также проводится различение подходов сенсорной этнографии и представлена их классификация. По мнению автора, сенсуальная этнография фокусируется на теле и субъективном аффективном опыте самого исследователя. Это феноменологический подход, который стремится передать, каково *быть* в исследуемом месте или ситуации. Цель такого исследования — передать атмосферу, настроение, телесные ощущения. Основным методом исследования в рамках этого подхода — автоэтнография, глубокое погружение в собственные телесные и эмоциональные реакции в поле. В качестве примера можно рассматривать работу самого автора в сообществе глухих в Японии. К. Накамура анализирует, как ее собственное тело училось чувствовать ритм и пространство жестового общения, как менялось ее восприятие тишины и шума. Второй подход — мультисенсорная этнография — фокусируется на том, как другие люди используют, классифицируют и наделяют смыслом свои чувства и телесные переживания. Это, скорее, классический антропологический подход, но примененный к сенсорной сфере. Здесь используются традиционные методы исследования, такие как структурированные и полуструктурированные интервью с фокусом на чувствах и переживаниях информантов, проводится анализ лексики, отражающей ощущения, изучаются культурные практики, связанные с чувствами.

Мой опыт исследования сенсуальности не очень богат. Потребность в новых подходах и методах я ощутила в исследовании, посвященном квалификации и оценке разных городских районов, когда пыталась понять, как и с помощью каких критериев люди описывают и оценивают районы проживания. В собранных интервью информанты описывали не только материальность района, в частности, состояние домов, дорог и дефициты инфраструктуры, но и обращались к понятию атмосферы места [Бредникова, 2023: 214]. Атмосфера, или атмосферность, — сложный концепт с насыщенной историей [Böhme, 1993; Griffero, 2014; Шишова, 2018]. Под атмосферой места чаще всего понимается комплексное, эмоционально-чувственное восприятие пространства, которое складывается из совокупности физических, сенсорных, социальных и культурных факторов. Это синестезийный феномен, где звуки, запахи, зрительные образы и тактильные ощущения сливаются в единое эмоциональное переживание, наделяющее пространство уникальным смыслом. Участники исследования пытались описать свой район через его атмосферность. Это были сложные нарративы с длиннотами и поиском подходящих слов для описания того, что они чувствуют. Информанты говорили об атмосфере места, описывая свое настроение, эмоции («радуюсь, когда возвращаюсь», «охватывает тревога») и употребляя определенные телесные идиомы и метафоры («оживаю на Удельной»). Также в интервью речь шла и о сенсорных переживаниях. Так, жители



того или иного района рассказывали о шуме от трамваев, о запахе от помоек, о красивом свете закатного солнца, который можно наблюдать из окна.

Существует специфика таких нарративов. Прежде всего, сенсуальные переживания практически всегда эмоционально насыщены. Через эмоциональную окрашенность четко прочитывается отношение к месту. Примером может служить экспрессивно-оценочное высказывание о районе близ станции метро «Лиговский проспект»: *«Там всегда жуткая вонь!»*. Эмоции бывают не только отрицательные, но и положительные, но справедливости ради стоит отметить, что отрицательные преобладают. Я полагаю, это вызвано тем, что о сенсуальных переживаниях без наводящих вопросов интервьюера в основном говорили в ситуации поломок. Так, тема запаха проблематизируется в тот момент, когда он напрягает и не нравится. Это справедливо и для других сенсуальных переживаний, например, когда речь идет о звуках. Раздражают навязчивые и громкие звуки, и про них охотнее будут рассказывать, нежели про их отсутствие или про звуки, приятные уху. О тишине района говорят, но гораздо реже. И в данном случае тишина сопряжена скорее с общим ощущением покоя, нежели с приглушенными звуками или с их полным отсутствием. Кроме того, чувственные переживания часто встроены в биографическую перспективу. Так, ощущения могут быть связаны с определенным моментом в биографии (*«как в детстве»*) или с трансформацией ощущений в течение жизни (*«в молодости я любила движ центра, теперь дико устаю от него»*). В собранном материале телесные переживания зачастую выражены в телесных метафорах (*«[в центре города] глаза тесно»*).

Итак, специфика нарративов, посвященных сенсуальным переживаниям, прежде всего связана с тем, что они идут в плотной сцепке с эмоциями, вписаны в биографические опыты и часто выражены метафорами. Несмотря на такую комплексность и своего рода герметичность нарративов, деконструкция сенсуальных переживаний, помещенных в разнообразные контексты эмоциональных оценок и биографических ситуаций, позволила выявить вовлеченность и значение разных чувств в оценку и квалификацию городских районов. Следует признать, речь в интервью редко заходила конкретно о чувственном опыте в ощущении района. Информацию об этом я собирала буквально по крупицам из всего немаленького массива интервью. При этом важность этого материала, как и сенсорного подхода в целом, я не осознавала до прогулки с Аллой, описанной в начале статьи.

Этот случай стал для меня своего рода методологическим откровением. Совместная прогулка, которая изначально выстраивалась как простая иллюстрация рассказанного в интервью, открыла важность обращения к мульти-сенсорной этнографии в городских исследованиях. Невысказанное проявило себя через поделенный сенсорный опыт: мы перестали говорить о недостатках инфраструктуры и наконец заговорили об атмосфере места — о настроении места, связанном с его запахами, цветом асфальта и фактурой штукатурки. Запах сырости и кошек, внезапно вернувший меня в детство, оказался тем самым мостом, который соединил мои ощущения с ощущениями информантки. Я поделилась этими переживаниями, и информантка их частично подхватила,

но в чем-то поспорила. И мы обе словно нащупали общий язык, который оказался гораздо точнее и уместнее рационализированных объяснительных схем квалификации района. В данном случае тело исследователя выступило как резонатор, улавливающий те вибрации поля, которые невозможно записать на диктофон, и открыло новую перспективу исследования.

Обращение к мультисенсорному подходу актуально и для других тем. Например, фокусировка на чувственном опыте и телесных переживаниях может расширить понимание проблем интеграции мигрантов. Одновременно я вижу определенные сложности в исследовании чувственного опыта, связанные и с недостатком языковых средств для вербализации переживаний, и с определенной интимностью темы телесности, что, собственно, и произошло в ситуации с Людмилой, беженкой из Украины, которая, очевидно, чувствовала себя некомфортно и не могла озвучить проблемы, которые считает постыдными. Как показало исследование, беженство — очень чувствительная тема, сопряженная не только с утратой дома, но и с сильными телесными переживаниями, выраженными среди прочего чувством стыда [Бредникова, 2023]. В данном случае, как и в случаях со сложностями вербализации или неотрефлексированностью чувственных переживаний, прямой заход в тему и прямые вопросы не будут работать. В менее сложном случае исследования районов прямой вопрос: «Чем пахнет Ваш район?» — возможно, вызовет определенную рефлексию, и мы получим развернутый нарратив, однако, предполагаю, все равно многое останется за кадром.

Исследователи предлагают целый арсенал приемов и техник, позволяющих говорить с информантами о сенсуальном опыте [Pink, 2015]. В частности, прием сравнений сенсуальных переживаний в разных локациях или ситуациях, фокусировка на телесных реакциях, работа с памятью и биографией и пр. Я полагаю, в данном случае может также помочь включение личности и тела исследователя в исследование. Необходимо объединить сенсуальные исследования с мультисенсорной этнографией, которые методологически предлагала различать Карен Накамура, например, фокусироваться не только на анализе чувственных переживаний исследуемых, но и включать в анализ собственные телесные и эмоциональные реакции. При этом важно не держать свои переживания при себе, а делиться ими с информантами, чтобы вызвать ответную реакцию, разговаривать их. Таким образом, исследование сенсуального опыта тех, кого исследуешь, должно включать в себя и автоэтнографический подход.

Обычно под автоэтнографией понимают качественный исследовательский подход, в котором исследователь использует личный опыт как основной материал для анализа, рефлексивно описывая и интерпретируя этот опыт [Handbook, 2013; Denzin, 2014]. В отличие от классической этнографии, где ученый наблюдает за другими, автоэтнограф помещает в центр исследования себя, рассматривая свою жизнь как текст, через который можно увидеть более широкие культурные паттерны, нормы и практики. Автоэтнография признает, что знание всегда ситуативно и субъективно, а исследователь не может быть нейтральным наблюдателем, и потому предлагает субъективный опыт сделать явленным, проговорить его. Дмитрий Рогозин радикально называет



автоэтнографию «спланированной, хорошо структурированной и соотнесенной с внешним миром исповедью» [Рогозин, 2015: 224]. Я же, вслед за Сергеем Соколовским, понимаю автоэтнографию несколько шире. Для него автоэтнография — это своего рода метаметод [Соколовский, 2017], который предполагает гипервключенное наблюдение не только за информантом, но и за собой, за исследователем. Полагаю, что всякое качественное исследование в той или иной мере может стать автоэтнографичным, связано ли это с тем, как мы выбираем тему, со стратегией вхождения в поле или с рекрутингом информантов. В автоэтнографическом подходе исследователю необходимо рефлексировать каждое свое действие, отслеживать, как оно влияет на исследование, какие эффекты вызывает. Фокус в таком исследовании смещается или, точнее, расширяется и включает в себя не только объект исследования, но и отношения, которые складываются с информантом. Именно в ходе взаимодействия исследователя и информанта рождается знание, и потому оно должно быть включено в анализ. Таким образом, собственные переживания исследователя, его ощущения, реакции, представления и пр. требуют постоянной и глубокой рефлексии. В кейсе с Аллой они помогли услышать информантку и фактически открыли новую исследовательскую перспективу.

Я полагаю, подобную вовлеченность и рефлексивность в исследовании можно обозначить как *со-переживание*, которое в моем случае помогло услышать невысказанное. Здесь со-переживание понимается не столько как этическая позиция или эмоциональная реакция, но как рефлексивное разделение опыта с информантом, при котором исследователь не растворяется в чужой боли или радости, но использует собственное тело и аффективную систему как резонирующий камертон, позволяющий уловить те вибрации смысла, которые ускользают от диктофона и транскрипта.

Впустить время в исследование: замедление в мягком методологическом подходе

Эпизод с Гульнаррой, упомянутый в начале статьи, мог бы получить свое развитие, если бы я не пропустила мимо ушей то, что информантка пыталась мне сказать своим обманом. Сам по себе обман довольно информативен, если попробовать понять, почему он происходит. Возможно, если бы я провела с Гульнаррой больше времени и встречалась с ней неоднократно, я бы смогла обсудить ее фантазии и поняла бы, чем они вызваны и что стоит за ними: простое ли желание понравиться, представление себя истинной петербурженкой в соответствии с некой воображаемой моделью, сложная стратегия интеграции или другие варианты. Мне, очевидно, не хватило времени, чтобы переформатировать наши отношения, чтобы мы, преодолев отчуждение публичной ситуации, коей, несомненно, является интервьюирование, смогли обсудить еще массу других важных тем, которые помогли бы понять слова и действия этой молодой женщины. Такой подход сделал бы исследование не столь поверхностным. Однако я ограничилась одной встречей и разговором,

в котором за пару часов очень многое осталось невысказанным и — более того — не услышанным.

Полагаю, фактор времени в сенситивной методологии имеет большое значение. Реалии современной академии, как правило, противоречат логике медленных исследований, что, впрочем, не отменяет ни их ценности, ни самой возможности их проводить. Мне представляется действительно важной и актуальной концепция мягкого методологического подхода (*gentle methodological approach*), предложенного английской исследовательницей Лорой Поттингер [Pottinger, 2025]. Мягкий методологический подход опирается на идеи *телесности*, *медлительности* и *реципрокности*.

Согласно Поттингер, тело исследователя — один из исследовательских инструментов. Для того чтобы лучше слышать и понимать информанта, необходима телесная вовлеченность, которую возможно достичь через совместную деятельность. Так, Поттингер описывает процесс совместной с информанткой прополки огорода, что стало для участников действия разделенным телесным опытом, поводом для разговоров и, не менее важно, пауз, когда можно комфортно молчать друг с другом. Стоит отдельно подчеркнуть ценность совместной тишины, в которой невербализуемое (телесное ощущение, аффект, смутный образ) получает шанс проявиться, не будучи стиснутым в рамки готовых речевых форм. В оптике мягкого методологического подхода пауза может стать событийным пространством, где встречаются тело и аффект, где невыразимое получает шанс проявиться помимо слов. Пауза разворачивает исследование от режима добычи данных к режиму *со-бытия*, в рамках которого снижается давление на информанта.

Мягкость предполагает также особую *темпоральность* — медленный темп и низкую громкость исследования. Так, медленное исследование позволяет больше времени проводить с информантом, чаще встречаться с тем, кого исследуешь, болтать не по теме, делать что-то вместе. Возможность не спешить дает больше совместных контекстов и ситуаций для наблюдения, обсуждения и понимания. Низкая громкость исследования — это своего рода установка на вслушивание. Она предполагает сознательное снижение исследовательского шума: отказ или гибкость в отношении навязчивого и в чем-то агрессивного инструментария (например, интервьюирования в точном соответствии гайду), минимизацию резкого вторжения в жизнь информанта, чуткость к паузам и пр.

Мягкая методология — это также и про взаимный обмен, в котором не только исследователь получает свою порцию информации, но и исследуемый что-то обретает взамен. Реципрокность в исследовании необходима для поддержания взаимного интереса. Информант получает внимание и понимание исследователя, и в этом случае исследование может иметь терапевтический эффект. Об этом, в частности, свидетельствует искренняя благодарность, которую мы часто слышим в конце интервью. Информант действительно бывает благодарен и за возможность высказаться, и за интерес, который проявляет исследователь к нему. Иногда ответным даром информанту за участие в исследовании может стать реальная помощь, будь то прополка огорода в исследовании Лоры Поттингер или политическая



поддержка в суде [Kirsch, 2018]. В то же время реципрокность порождает определенную взаимозависимость исследователя и информанта, которая не всегда позитивна. Она может сопровождаться сложными негативными проявлениями и эмоциями, например чувством вины или зависимости и несвободы. Однако сам взаимообмен и анализ любых его проявлений очень важен и информативен, и мягкий подход в исследовании как раз призван учитывать эти многослойные формы и эффекты взаимности.

Итак, мягкий подход, требующий телесной рефлексивности и совместности, медленного темпа общения и чуткости к проявлениям реципрокности, обладает исследовательской силой. Он позволяет получить доступ к тем аспектам реальности, которые ускользают при более агрессивных или дистанцированных методах. В частности, подход, предложенный Поттингер, позволил ей увидеть и концептуализировать феномен тихого активизма — значимую, но часто невидимую политическую работу, которая совершается в повседневности через практики заботы. Тема реципрокности, ее границ и эффектов, на мой взгляд, заслуживает отдельного разговора. Здесь я бы хотела сфокусироваться на идее совместности, а также на факторе времени в исследовании, точнее, его медленном темпе и большой длительности. Это взаимосвязанные факторы, ибо возможность проводить с информантом много времени дает больше ситуаций для совместных активностей.

В моем исследовательском опыте было два формата продолжительных исследований. Первый — полугодовой полевой этап исследования этнической экономики, что в нынешних академических реалиях стало уже роскошным максимумом. Кроме того, я была вовлечена в лонгитюдное исследование феномена транснационализма [Жить, 2021], в рамках которого полевое исследование шло в течение пяти лет, и мы с коллегами возвращались к нашим информантам каждые полгода.

Длительный полевой этап в исследовании этнической экономики позволил долго входить в поле, рекрутировать подходящих под задачи исследования информантов и, самое главное, долго общаться с ними. Мы с коллегой часами проводили время на рынке, вместе с нашими информантами сидели за прилавком, ходили друг к другу в гости, вместе гуляли по городу, вместе ходили по магазинам и так далее. В процессе мы выстраивали и переживали совместность, о которой пишет Поттингер.

Я полагаю, что совместность отличается от наблюдения, пусть оно будет включенное или участвующее (как бы мы его ни называли). Если наблюдение — это метод сбора данных, то совместность — это, скорее, онтологическое и этическое условие полевой работы. В участвующем наблюдении исследователь приходит в сообщество, чтобы понять его изнутри. Он участвует в жизни людей, аккумулируя данные об их мире, практиках и представлениях. В данном случае социолог или антрополог временно становится *своим*, чтобы лучше понять и описать тех, кого исследует. В совместности фокус, скорее, не на *них*, но на *нас*. Знание не добывается, а производится совместно в процессе взаимодействия. Исследовательским вопросом становится не только вопрос, *что они делают*, но и — *что происходит между нами сейчас?* В участвующем наблюдении между

исследователем и исследуемым складываются ассиметричные субъект-объектные отношения, в то время как в совместности эти отношения, скорее, партнерские. Участники исследования выступают соавторами ситуации, находятся в диалоге. Исследователь не просто наблюдает и учится, он вовлечен в общие дела, эмоциональные переживания, конфликты, радости. Он анализирует, как его присутствие меняет поле и наоборот — как поле меняет исследователя. В этой связи результатом не обязательно будет академический текст, но, например, совместный проект, активизм, выставка, фильм или даже просто изменение понимания себя у всех участников взаимодействия. Так, именно на основании совместности возникают вовлеченная и активистская антропология — исследовательские подходы, направленные не просто на изучение сообществ, но на практическое улучшение их жизни через сотрудничество, адвокацию и вмешательство (см., например, [Kirsch, 2018; Hale, 2006]).

Выстраивание совместности требует больше усилий и временных затрат, нежели наблюдение. Одной из исследовательских находок продолжительного полевого этапа при исследовании этнической экономики стало наблюдение за тем, как на протяжении всего проекта менялась роль исследователей в отношениях с информантами. Это была своего рода карьера [Бредникова, 2009]. Так, сначала мы с коллегой для наших информантов были *чужаками*: к нам относились с подозрением, неохотно шли на контакт. Мы находились по разные стороны прилавка, и общение ограничивалось короткими вопросами и такими же короткими ответами о том, откуда привезли товар и откуда приехали сами продавцы. Затем мы поближе познакомились с зеленщиками, торгующими на Кузнечном рынке в Петербурге, и поварами импровизированной столовой на Сенном рынке, и наша роль изменилась. Мы стали восприниматься как *почетные гости*, которых приглашали в дом и для которых накрывали стол, однако не пускали в приватную сферу, где протекает не показная и торжественная, но реальная повседневная жизнь с ее проблемами и скелетами. Когда информанты подустали от застолий ввиду наших регулярных визитов и привыкли к ним, отношения перешли в другой формат. Нас с коллегой стали привлекать к решению множества проблем и вызовов, которые встают перед мигрантами — людьми, обживающимися на новом месте. Мы стали для них кем-то вроде *проводников* или *социальных работников*, которые помогают устраивать детей в школу, записывают на прием к врачу и даже вытаскивают из отделения полиции после очередного рейда на рынке. Очевидно, в качестве большого достижения можно рассматривать момент, когда женщины стали меня пускать к себе на кухню, и я смогла участвовать в готовке и просто болтать с ними. Кроме того, нам с коллегой предложили стать партнерами по бизнесу и торговать рядом. Я полагаю, что на этом этапе развития наших отношений мы стали *своими*, с которыми выстраиваются равные отношения. Здесь классическая логика обмена дарами, где исследователь берет интервью и отдает внимание или помощь, уступает место иной экономике. Даром становится присутствие в жизни друг друга и совместно проведенное время.

Все эти периоды в карьере исследователя по-своему важны и информативны. Дело не только в процессе выстраивания доверительных отношений, но в том,



что каждый этап давал новые знания об исследуемом феномене. Так, в начале пути мы столкнулись с границами, которые обороняют от вмешательства чужаков. Затем, будучи почетными гостями, мы оказались в пространстве публичных репрезентаций, услышали множество мифов о различиях национальных культур. На этапе сближения и помощи мы увидели реальные барьеры в интеграции мигрантов и то, как работает ксенофобия на повседневном уровне и уровне социальных институтов. На этапе партнерских отношений мы были допущены к информации о нелегальных практиках неформальной экономики. Каждый исследовательский период был безусловно ценен, и длительное пребывание в поле позволило пройти все эти этапы. Лишь благодаря медленному темпу и мягкости, в частности отказу от форсированной добычи данных в пользу долгого присутствия каждый из этапов смог подарить нам знание, которое невозможно получить в режиме быстрого интервью или краткосрочного наблюдения.

В данном исследовании совместность проявилась не как разовый акт, а как длительный процесс, в ходе которого исследователи и исследуемые двигались в сторону друг друга. Пожалуй, о совместности стало возможно говорить лишь на этапе социальной работы, когда мы реально были вовлечены в жизнь информантов, помогали решать проблемы, с которыми сталкиваются мигранты. Один из примеров из поля — мой поход к врачу вместе с Бузором, мигрантом из Таджикистана, сорокалетним мужчиной, который на момент нашего исследования жил в Петербурге около пяти лет и работал на рынке поваром. Однажды он попросил сходить с ним к врачу, ибо боялся, что его не примут в силу отсутствия постоянной регистрации. Мы пришли в частный медицинский центр, где я помогла оформить документы в регистратуре. Бузор сначала пошел на прием к врачу один, а я ждала рядом с кабинетом, решив, что во время приема я, собственно, не нужна. Надо заметить, что Бузор неплохо говорит по-русски, так как, помимо пятилетнего стажа работы на рынке в Петербурге, у него за плечами опыт службы в советской армии. Спустя несколько минут врач пригласил меня войти в кабинет, где, на мой взгляд, разыгралась совершенно нелепая сцена, когда врач обращался ко мне и просил передать своему пациенту, что надо сдать анализы. Бузор отвечал тоже мне и просил уточнить у врача, что за анализы, где их сдавать и сколько это будет стоить. Нелепость ситуации состояла в том, что весь разговор шел на русском языке. Врач почему-то решил, что пациент не поймет его, и потому обращался исключительно ко мне. Бузор принял ситуацию, зеркалил ее и тоже общался только со мной. Точнее, с врачом, но через меня. Я сидела между участниками взаимодействия таким образом, что они даже не видели друг друга. В эту ситуацию было вовлечено мое тело, ибо я прочувствовала, как мной фактически огораживаются, избегая прямой коммуникации. Оно стало чем-то вроде заплатки, соединяющей разорванную социальную ткань. Для того чтобы коммуникация состоялась, потребовался посредник, и столь сложная и опосредованная коммуникация ничуть не смущала ее участников. В итоге Бузору назначили обследование и лечение, а я много вынесла для исследования из этой ситуации. В частности, как происходит исключение и какие формы может принимать ксенофобия.

Мягкий и «негромкий» подход к исследованию позволяет коммуницировать с информантами как бы вне целенаправленного и фокусированного сбора информации. Возможность просто присутствовать рядом позволяет подойти непосредственно к теме исследования не напрямую, а как бы исподволь. Можно вместе пропалывать огород, пить чай или помогать выполнять домашнее задание ребенку информанта, как это происходило в одном из моих исследований мигрантов из стран Центральной Азии. До этого момента мы с Саидой — молодой женщиной, приехавшей из Узбекистана, — просто болтали о жизни в Петербурге и о наших детях. А потом к нам подошла восьмилетняя дочка Саиды, которую здесь зовут русским именем Маша, и попросила о помощи с уроками. И за эти полчаса нашего общения с ребенком я услышала и поняла не меньше, а, может быть, даже больше, чем за два часа разговоров с Саидой, почему ее дочке так тяжело дается учеба. Я увидела, как непонятно сформулированы задания для ребенка, который лишь недавно стал учиться в российской школе и еще не понимает многих социальных и символических контекстов этих заданий. Увидела, как категорично красной ручкой в тетради девочки перечеркнуты выполненные задания по русскому языку, потому что учительница не справилась с огромным количеством ошибок, сделанных ребенком. Здесь можно представить отчаяние учителя, у которого нет ни ресурсов, ни специализированных знаний для обучения детей-инофонов, однако в данном случае исправление ошибок утратило свою педагогическую функцию и превратилось в акт символического исключения.

Я полагаю, что лонгитюдное исследование тоже можно рассматривать как формат длительного исследования и как своего рода мягкий методологический подход, позволяющий регулярно встречаться с одними и теми же людьми в течение продолжительного времени. Регулярное возвращение в поле позволяет увидеть ситуативную обусловленность и контекстуальность представленных в разговорах с исследователями мнений, версий своей биографии, интерпретаций событий, рассказов о практиках и прочем (см., например, [Богданова, Ткач, 2009]). Так, в рамках проекта по исследованию транснационализма я в течение пяти лет примерно раз в полгода встречалась с молодым человеком по имени Абдор, который приехал в Петербург из Таджикистана. На первой встрече он представлял себя как хорошо интегрированного человека — *«практически русского»*. На следующей встрече, которая произошла спустя полгода, он демонстрировал иные практики и настроения, в частности, рассказывал, как важна для него этническая принадлежность, и *«никто не может никогда менять свою этничность. Если родился таджиком, нужно этим только гордиться»*. И такие метаморфозы охватывали практически все темы, которые мы раз за разом обсуждали на наших встречах в рамках проекта. И в данном случае передо мной как исследователем стояла задача реконструировать контексты и ситуации, в рамках которых представлялось то или иное мнение, и понять, с чем были связаны кардинальные изменения идентичности и интеграционных практик.

Итак, мягкий методологический подход, предлагаемый Лорой Поттингер, формирует особую коммуникативную среду, которую точнее было бы назвать



пространством со-бытия. В этом пространстве исследователь становится спутником информанта, буквально следуя за ним в его повседневных маршрутах и разделяя его активности и практики. Такое со-бытие позволяет увидеть и услышать не только и не столько то, что информант может высказать. Здесь знание рождается в самом акте соприсутствия и извлекается не через вопросы, но через совместную деятельность и рефлексия о собственном участии, чувствах и эмоциях. Такую совместность может обеспечить длительное исследование с регулярным возвращением в поле и совместным времяпрепровождением.

Со-переживание и со-бытие как чувствительный методологический подход. Вместо заключения

Качественная методология выступает мощным инструментом социологического и антропологического познания, так как позволяет не просто обозначать тренды или фиксировать внешние проявления социальной жизни, но и проникать в глубинные слои субъективного опыта, реконструируя те смыслы, ценности и невысказанные переживания, которыми люди наделяют свои повседневные действия. При этом, я уверена, сила качественного подхода в его комплексности, и необходимо использовать весь арсенал методов, который он предлагает. Именно такой комплексный подход, сочетающий множество источников эмпирических данных и разные методы сбора информации, обладает эвристической силой, может раскрыть многослойность социальной реальности, которую мы изучаем.

В статье я предложила посмотреть на то, как обогащают исследование, помогают услышать невысказанное и уловить не всегда заметные, но актуальные исследовательские темы и фокусы пока еще не столь распространенные в качественной методологии подходы — мультисенсорная этнография и мягкий методологический подход. Обращение к этим подходам помогает исследователю и информанту войти в режим взаимного телесного и аффективного со-настроя. В данном случае знание уже не извлекается из информанта, но рождается синхронизированными телами и эмоциональным резонансом. *Со-переживание* (как разделение чувственного и эмоционального опыта) и *со-бытие* (как совместность) создают условия для получения такого знания. Метафоры со-переживания и со-бытия, на мой взгляд, хорошо отражают и позицию исследователя в поле, и способ получения знания при обращении к мультисенсорной этнографии и мягкому методологическому подходу. Как показывает мой исследовательский опыт, эти подходы позволяют услышать то, что не высказано информантом в силу разных причин, будь это отсутствие языка для описания сенсорного опыта, неотрефлексированность переживаний или же следствие недостаточной близости и не сложившихся доверительных отношений. В конечном счете быть чувствительным исследователем означает не столько задавать правильные и аккуратные вопросы, но приближаться к информанту, подстраиваться под его темп и слышать его тишину.

Напоследок стоит заметить, что сами по себе со-переживание и со-бытие еще не есть производство социологического или антропологического знания. Путь от включенности к рационализации лежит через рефлексивные процедуры, в частности, систематическое вынесение собственных ощущений в полевые заметки, их последующий анализ и интерпретация как полноценных данных, а не субъективного шума.

Литература / References

- Агамбен Дж. *Homo sacer*. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.
- Agamben G. (2011) *Homo sacer. Suverennaya vlast i golaya zhizn* [Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life]. Moscow: Evropa. (In Russ.)
- Богданова Е. А., Ткач О. А. Назад, в «поле»: опыт исследования деревенского сообщества // Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле / Под ред. В. Воронкова, Е. Чикадзе. СПб.: Алетейя, 2009. С. 102–113.
- Bogdanova E. A., Tkach O. A. (2009) Nazad, v "pole": opyt issledovaniya derevenskogo soobshchestva [Back to the "Field": Experience of Studying a Rural Community]. In: Voronkov V., Chikadze E. (eds.) *Uyti, chtoby ostatsya: Sotsiolog v pole* [Leaving to Stay: Sociologist in the Field]. SPb.: Aleteiya. P. 102–113. (In Russ.)
- Бредникова О. «Чистота опасности»: Field-фобии в практике качественного социологического исследования // Уйти, чтобы остаться. Социолог в поле / Под ред. В. Воронкова, Е. Чикадзе. СПб.: Алетейя, 2009. С. 17–35.
- Brednikova O. (2009) "Chistota opasnosti": Field-fobii v praktike kachestvennogo sotsiologicheskogo issledovaniya ["Purity of Danger": Field Phobias in the Practice of Qualitative Sociological Research]. In: Voronkov V., Chikadze E. (eds.) *Uyti, chtoby ostatsya: Sotsiolog v pole* [Leaving to Stay: Sociologist in the Field]. SPb.: Aleteiya. P. 17–35. (In Russ.)
- Бредникова О. Е. (Не) новые вопросы в новых условиях (методологические и этические проблемы в исследованиях беженцев из Украины) // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2023. Т. 15. № 2. С. 34–50. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2023.15.2.2> EDN: GIOPZW
- Brednikova O. E. (2023) (Not) New Questions in New Conditions: Methodological and Ethical Problems in Studies of Refugees from Ukraine. *Interaktsiya. Interv'yu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 15. No. 2. P. 34–50. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2023.15.2.2> (In Russ.)
- Бредникова О. Е. «В Питере жить...»: квалификация городских районов // Городские асимметрии: политики, практики и репрезентации / Отв. ред. Е. В. Тыканова. М.: ФНИСЦ РАН, 2024. С. 211–228.
- Brednikova O. E. (2024) "V Pitere zhit...": kvalifikatsiya gorodskikh raionov ["Living in St. Petersburg...": Qualification of Urban Districts]. In: Tykanova E. V. (ed.) *Gorodskie asimmetrii: politiki, praktiki i reprezentatsii* [Urban Asymmetries: Policies, Practices and Representations]. Moscow: FCTAS RAS. P. 211–228. (In Russ.)
- Возьянов А. Г., Гучинова Э. Б., Дудек Ш., Касаткина А. К., Козлова И. В., Лярская Е. В., Пироговская М. М., Скибо Д., Станюкович М. В., Стукалин Г. Д. Форум: Опасности поля: перспектива исследователя // Антропологический форум. 2021. № 48. С. 11–88. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88>
- Vozyanov A. G., Guchinova E. B., Dudeck S., Kasatkina A. K., Kozlova I. V., Lyrskaya E. V., Pirogovskaya M. M., Skibo D., Stanukovich M. V., Stukalin G. D. (2021) Forum: Field Dangers: The Researcher's Perspective. *Antropologicheskii forum* [Antropologicheskii Forum]. No. 48. P. 11–88. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88> (In Russ.)
- «Жить в двух мирах»: переосмысляя транснационализм и транслокальность / Под ред. О. Бредниковой, С. Абашина. М.: Новое литературное обозрение, 2021.



Brednikova O., Abashin S. (eds.) (2021) "Zhit' v dvukh mirakh" pereosmyslyaya transnatsionalizm i translokal'nost' [«Living in Two Worlds»: Rethinking Transnationalism and Translocality]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Ваневская П. Н. Сенсорная этнография как методологический ресурс качественных исследований // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 2. С. 8–26. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.2.1>

Vanevskaya P.N. (2021) Sensory Ethnography as a Methodological Resource for Qualitative Research. *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 13. No. 2. P. 8–26. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.2.1> (In Russ.)

Соколовский С. В. Жизнь как поле: заметки об автоэтнографии // Поле как жизнь. 2017. С. 167–188.

Sokolovsky S.V. (2017) Life as a Field: Notes on Autoethnography. *Pole kak zhizn* [Field as Life]. P. 167–188. (In Russ.)

Шишова Е. С. Атмосфера городских пространств: от метафоры к языку описания // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. Т. 21. № 4. С. 85–103. DOI: <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.4.4>

Shishova E. S. (2018) The Atmosphere of Urban Spaces: From Metaphor to a Language of Description. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 21. No. 4. P. 85–103. (In Russ.)

Böhme G. (1993) Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics. *Thesis Eleven*. Vol. 36. No. 1. P. 113–126.

Denzin N.K. (2014) *Interpretive Autoethnography* 2nd ed. Thousand Oaks: Sage.

Griffero T. (2014) *Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces*. London: Routledge.

Hale C.R. (2008) *Engaging Contradictions: Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship*. Berkeley: University of California Press.

Holman J.S., Adams T.E., Ellis C. (eds.) (2013) *Handbook of Autoethnography*. Walnut Creek: Left Coast Press.

Howes D. (2025) Introduction to Multisensory Ethnography. *The Senses and Society*. Vol. 20. No. 2. P. 161–170. DOI: <https://doi.org/10.1080/17458927.2025.2520100>

Kirsch S. (2018) *Engaged Anthropology: Politics Beyond the Text*. Oakland: University of California Press.

Majid A., Levinson S.C. (2011) The Senses in Language and Culture. *The Senses and Society*. Vol. 6. No. 1. P. 5–18. DOI: <https://doi.org/10.2752/174589311X12893982233551>

Nakamura K. (2013) Making Sense of Sensory Ethnography: The Sensual and the Multisensory. *American Anthropologist*. Vol. 115. No. 1. P. 132–135. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2012.01544.x>

Pink S. (2015) *Doing Sensory Ethnography*. London: SAGE Publications.

Pottinger L. (2025) Treading Carefully through Tomatoes: Embodying a Gentle Methodological Approach. *Area*. Vol. 57. No. 3. P. 1–7. DOI: <https://doi.org/10.1111/area.12650>

Сведения об авторе:

Бредникова Ольга Евгеньевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** bred8@yandex.ru. **РИНЦ Author ID:** 533305; **ORCID ID:** 0000-0002-6954-1273; **Researcher ID:** ABD-1736-2020.

Статья поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята к публикации: 01.06.2026

БАК: 5.4.1

Hearing the Unspoken: Tuning a Sensitive Methodology

DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.1

Olga E. Brednikova

Sociological Institute of RAS —
Branch of the FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia
E-mail: bred8@yandex.ru

The article reconsiders the traditional understanding of sensitive fields as exclusively “difficult” topics (death, violence, trauma) or research on vulnerable groups. Research experience shows that sensitivity may be located not so much in the object of study as in the mode of interaction itself — in the “point of contact” between the researcher and the researched. Any field, regardless of its theme, can reveal sensitive layers if we acknowledge the embodied nature of experience, its affective intensity, and the fundamental incompleteness of verbalization. The researcher’s task is to calibrate a methodology capable of capturing what is left unsaid, poorly reflected upon, or entirely resistant to articulation.

Three approaches are examined as instruments for such calibration: multisensory ethnography, the gentle methodological approach, and autoethnography. Multisensory ethnography enables the inclusion of sensory experience (smells, sounds, tactility) in the analysis — experience that, being pre-linguistic in nature, often remains beyond the reach of interviews, yet it is precisely through the senses that informants experience and interpret social reality, whether an urban neighborhood or a situation of forced displacement. The gentle approach, which requires bodily involvement, a slow pace, and attentiveness to pauses, grants access to the unspoken through co-presence and “co-being” (so-bytie), where knowledge emerges not in the mode of “data extraction” but through shared experience. Autoethnography, in turn, transforms the researcher’s own body and affective system into a resonating instrument, attuned to those “vibrations of the field” that cannot be captured by a voice recorder.

Keywords: sensitive methodology; multisensory ethnography; gentle methodological approach; autoethnography; field research

Author Bio:

Olga E. Brednikova — Candidate of Sociology, Senior Researcher, Sociological Institute of RAS — Branch of the FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** bred8@yandex.ru. **RSCI Author ID:** 533305; **ORCID ID:** 0000-0002-6954-1273; **Researcher ID:** ABD-1736-2020.

Received: 15.03.2026

Accepted: 01.06.2026

Биография номера



DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.2

EDN: SVCGQN

Покидать, оставлять, уезжать: миграция и чувство дома

Ссылка для цитирования:

Стрельникова А. В., Кремер М. М. Покидать, оставлять, уезжать: миграция и чувство дома // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 3. С. 29–41. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.2> EDN: SVCGQN

For citation:

Strelnikova A. V., Kremer M. M. (2026) Leaving, Abandoning, and Going Away: Migration and Feeling of Home. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 3. P. 29–41. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.2>



Стрельникова Анна Владимировна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»;
Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия
E-mail: astrelnikova@hse.ru



Кремер Мария Михайловна

Исследовательская и архитектурная студия ZVON,
Лос-Анджелес, США
E-mail: info@zvonstudio.com

В статье представлена первичная аналитическая работа с материалами одного интервью. Информантка описывает свою жизненную ситуацию и переживания, которые привели ее к созданию исследовательского арт-проекта "Homeing". Этот проект посвящен восприятию утраченного дома и анализу смыслов дома в современном мире. Обозначены основные сюжеты, отражающие рассуждения о потерянном, покинутом, оставленном доме в двух перспективах — с позиций личного опыта информантки и с точки зрения материалов арт-проекта, высвечивающего темпоральные и пространственные эффекты социальных трансформаций. Концепт «чувство

дома» становится опорой для разворачивания идей о незавершающейся адаптации мигранта и осознанной непривязанности к новым местам. Также материалы интервью показывают, как творческие методы сбора данных могут стать подспорьем для социальных исследователей.

Ключевые слова: темпоральные и пространственные эффекты социальных трансформаций; мигранты в первом поколении; субъективный социальный опыт; чувство дома

Аналитическая работа с единичным кейсом встречается сравнительно редко, однако является интересным приемом в качественных исследованиях и может давать не менее содержательные результаты, чем опора на большой массив данных (см., например, [Жесько, 2022; Омельченко, 2020]). Интерпретация индивидуального жизненного опыта в привязке к крупным социальным процессам позволяет выявить не только уникальные элементы биографии, но также построить предположения о типичных чертах массового поведения группы [Ваньке, 2017; Гольман, 2024].

В данной статье предлагается аналитическая пересборка материалов интервью, проведенного Анной Стрельниковой с Марией Кремер — архитектором, художницей, куратором, основательницей архитектурно-исследовательской студии ZVON, а также соосновательницей арт-проекта "Homeing".¹ Технически интервью с Марией состояло из нескольких последовательных бесед, раскрывающих как различные аспекты данного арт-проекта, так и рефлексивные сюжеты о жизни и работе вдали от дома. В тексте представлены фрагменты нарратива и первичная интерпретация полученных данных, что в совокупности дает представление о темпоральных и пространственных эффектах социальных трансформаций, отраженных в личном и профессиональном опыте.

Проект Homeing: личное переплетается с профессиональным

В самом начале интервью Мария подробно описывает себя, свои профессиональные достижения и историю появления арт-проекта о чувстве дома.²

«Я практикующий архитектор. Архитектурной практикой я занимаюсь примерно 10 лет. В конце 2021 г. в Москве я основала свою архитектурно-исследовательскую студию ZVON. Спустя полгода многие архитектурные проекты были поставлены на паузу, изменился и профессиональный, и личный контекст <...>. Тогда мы с мужем покинули

¹ Homeing Platform. Адрес доступа: <https://homeing.org/>

² Ниже и далее по тексту все цитаты, оформленные выносками и курсивом, являются фрагментами интервью с Марией Кремер.



свой дом и переехали в Армению. Уже в Армении, осмысляя опыт миграции и смены дома, я инициировала проект *Homeing*. Это слово мы придумали вместе с моей коллегой из Армении, куратором проекта Марией Гунько. Она антрополог, и мы начали это арт-исследование вдвоем: обе столкнулись с опытом переезда и стали думать об этом состоянии — я со стороны пространства и архитектуры, Мария — со стороны индивидов и сообществ. Так родился проект. Позже к нему присоединились социологи из Ереванского университета, художники, журналисты.

Проект начался с наблюдения, которое было важно для меня лично, и, как оказалось, для многих людей: дом сегодня уже не всегда означает то, что означал ранее. В современном нестабильном мире он не обязательно является пространством постоянства и защищенности. Иногда дом меняется, исчезает из повседневной жизни или остается прежде всего в воспоминаниях.

Если бы я не столкнулась с этим изменением отношения к дому, я бы, возможно, не заинтересовалась темой так глубоко. Для меня она не была бы настолько личной».

В ходе интервью проект предстает, с одной стороны, отражением личной истории вынужденного переезда, и, с другой стороны, примером профессиональной работы с темой переездов как многоаспектной, сложной и массовой, то есть касающейся больших групп людей. Отметим, что переплетение личной и профессиональной биографии не является редкостью для специалистов творческих профессий. Например, Евгения Гольман, анализируя творчество художницы Елены Шаргановой, обнаружила, что художественное высказывание не только сближает искусство с актуальной социальной проблематикой, но также соотносится с жизненным опытом автора и с его потребностью переосмыслить происходящее [Гольман, 2024].

Идея временности дома появляется на фоне личных переживаний Марии, однако она понимает, что это переживание не является уникальным. В результате возникает потребность исследовать, как формируется привязанность к месту и можно ли жить без чувства дома на новом месте.

«Я привезла с собой в Армению лампу. Это элемент интерьера, часть моего прежнего дома. Лампа для меня важна: я приобрела ее еще студенткой, когда жила в Германии, а затем узнала, что раньше эту вещь привезли в ГДР из СССР, где она и была сделана. Эта лампа путешествует со мной по разным городам и странам уже 10 лет. Когда она оказалась со мной в Армении, именно в период перемен она стала для меня олицетворять дом. Я поставила эту лампу в центр инсталляции, и это стало символическим началом проекта».

Представления о временности дома в определенном смысле перекликаются с архитектурными и маркетинговыми трендами на нечто краткосрочное, мобильное, переносное и сборно-разборное, при этом многофункциональное. Однако вынужденность смены дома дополняет эти тренды социальным контекстом: поиском ответа на вопрос о том, как переосмысливается дом в эпоху неопределенностей и конфликтов.

«Сейчас меня интересует тема сборно-разборных конструкций и простых механизмов, благодаря которым можно собрать дом. Современный дом может быть домом на колесах или другим мобильным пространством, которое постоянно перемещается. У меня есть ощущение, что дом больше не является чем-то статичным. Это процесс, постоянные перемещения и изменения.

Мне интересно, как строили кочевники: у них простота соединяется с многозадачностью — и в деталях, и в конструкции в целом, — и при этом такие решения часто укладываются в небольшой бюджет. Мне кажется, сейчас это снова становится актуальным, потому что вопрос мобильности и более гибкого отношения к дому становится все более заметным».

Мария описывает проект “Homeing” как междисциплинарное исследование, соединяющее концепты дома, мобильности, кочевничества и архитектуры в транснациональном контексте. Проект состоял из нескольких частей, которые сложно назвать этапами, потому что они реализовывались параллельно друг с другом: проведение первичных интервью с мигрантами для сбора воспоминаний о покинутом доме, визуализация как наиболее типичных, так и уникальных образов утраченного пространства, многомерное картирование воспоминаний с привязкой к конкретным местам, трансформация собранных воспоминаний в художественно-архитектурные инсталляции и, наконец, использование полученных материалов для активизации воспоминаний у новых участников проекта.

«В рамках проекта мы думали не только об интерьерах и внутреннем жилом пространстве — о том, как оно формируется у мигрантов, — но и о городском пространстве. Что происходит с городом, в который приезжает много людей с опытом переезда? Как этот город обживается?»

Ограниченное пространство и разговор без слов

Мария и ее коллеги разработали и использовали любопытную креативно-художественную проективную технику — инсталляцию, которая была названа «номадическая станция». Ее суть заключается в том, что участника



исследования помещают в небольшое замкнутое пространство в форме куба. Этот куб символизирует ограниченное пространство тех, кто оставил дом и находится во временном жилище (его и называли «номадической станцией»).

«Я начала собирать истории людей через передвижную минималистичную инсталляцию. Снаружи это очень маленький куб, который олицетворяет чемодан кочевника, мигранта, беженца — пространство, которое максимально сужается. Внутри стоит стул. Идея была в том, что посетители выставок или событий заходят в куб, садятся и через телефон, отсканировав QR-код, отвечают на вопросы о себе и о своих ощущениях дома. После заполнения опросника на экране напротив, в реальном времени, появляется воспоминание — какой-то его фрагмент или символ. Например, вид из окна, стол, шкафы, зеленый цвет на кухне: искусственный интеллект выбирает один из таких образов. Личные воспоминания на экране переплетаются с воспоминаниями других людей, и посетитель может соотнести свой опыт с чужим. Это молчаливый разговор, спокойное погружение в себя для людей, которые переехали и по-новому осмысливают дом.

Важно сказать, что изначально проект был ориентирован не на тех, кто просто уехал в другой город по работе, а именно на аудиторию миграции по разным причинам».

В номадической станции транслируются образы покинутого дома из воспоминаний тех, кто ранее принял участие в исследовании, а также цитаты из интервью с ними. Тем самым участник: (1) получает доступ к общим смыслам, разделяемым и другими людьми, которые пережили аналогичный опыт [Омельченко, Поляков, 2017: 122], и (2) имеет возможность максимально погрузиться в атмосферу воспоминаний и ассоциаций с прошлым, сфокусироваться на них, понять, что в этих воспоминаниях поддерживает собственную идентичность и связь между отношениями, памятью о людях и о местах [Гольман, 2024].

О чем же люди думают в первую очередь, вспоминая о покинутом доме, какие образы им приходят в голову? Оказалось, что в номадической станции чаще всего вспоминаются окна и все, что с ними связано — подоконники и предметы на них, свет из окна, вид за окном. На втором месте — окружение дома, прежде всего — природные объекты (ближайший сад, лес, парк). И на третьем — различные предметы интерьера. Также утраченный дом описывался через цвета, запахи, звуки. Применяя идеи К. Линча [Линч, 1982] к интерпретации чувства дома, можно увидеть, что элементы дома обладают признаками опознаваемости, пространственной соотнесенности с его обитателями и другими объектами, а также имеют эмоциональную нагруженность для тех, чей это дом.

На последующих этапах проекта Мария и ее коллеги делали объемные визуализации для просмотра с помощью VR-очков, в результате дополненная

реальность создавала слои воспоминаний прямо в текущем пространстве, превращая дом в контейнер с метафорическим наполнением.

«На базе собранных воспоминаний мы создали интерактивную многомерную карту — с воспоминаниями о доме и мечтами о доме. На ней видно, откуда человек уехал и что он вспоминает о своем прежнем доме. Эту карту мы представили на заключительной выставке проекта в бывшем гараже, который тогда использовался как выставочное пространство. Там нам удалось воссоздать некий интерьер кочевника, мигранта, беженца: он дополнялся воспоминаниями о прежних домах, и эти воспоминания были показаны в формате виртуальной реальности. В итоге получился сконструированный интерьер, на который накладывались воспоминания — разные субъективные образы утраченного дома в художественной обработке.

Можно сказать, что мы скомбинировали пустоту и типичную минималистичность интерьера с отрывочными образами из прошлого, а также с образами самых ценных вещей, которые люди взяли с собой при переезде».



Илл. 1. Фрагмент интерактивной карты, собранной в ходе проекта. Фото из архива Марии Кремер.

Коллажная тактика работы с материалом отчасти перекликается с проектом Елены Шаргуновой, который был описан Е. А. Гольман [Гольман, 2024]: коллаж из образов и воспоминаний предстает художественным размышлением о нереализованных траекториях жизни.



Илл. 2. Сконструированное пространство мигранта.
Фото из архива Марии Кремер.

Эмигрантские «сцены», или от покинутого дома — к безмезью?

Социальное пространство мигрантов содержит в себе условия для возникновения различных форм социальной коммуникации по поводу одних и тех же объектов материального мира [Kovalevskii, 2024: 1865]. В процессе миграции происходит переконфигурация гендерных, поколенческих и других отношений [Пешкова, 2025]. Поэтому было ожидаемо, что на протяжении интервью неоднократно реконструировалась тема эмигрантских нишевых активностей, которые служат городскими «сценами» [Klekotko, 2024: 53] для тех, кто покинул дом и находится в поиске новых сообществ или же ностальгирует об утраченном.

«С материалами проекта "Homeing" мы несколько раз выставлялись в Ереване, затем в Тбилиси, Батуми, и Берлине. Это были места и события, во многом связанные с эмигрантской средой. Конечно, мы хотели привлечь и местную аудиторию, создать диалог — и в конце концов это получилось. Например, в проекте были истории людей, уехавших из Нагорного Карабаха. В Тбилиси к нам на мероприятия приходили представители местных сообществ, хотя сначала они относились к проекту настороженно. И все же основной интерес возник именно у русскоговорящей аудитории, которая уехала после

2022 года. В этом смысле можно сказать, что это эмигрантский проект. Языковой барьер, конечно, был, хотя мы собирали воспоминания участников на разных языках: русском, армянском, грузинском, английском и украинском».

Эмигрантские сцены в городе — это и элементы физической среды, т. е. места типичного пребывания, где возможно совместное действие (этой функцией как раз обладают культурные проекты наподобие “Homeing”), и люди (те, кто находится в сходной жизненной ситуации), и практики культурного потребления — действия, которые осуществляют люди в этом месте (участие в публичных дискуссиях или погружение в воспоминания). По мнению Марии, мигранты склонны искать интересные пересечения между личным и публичным, и это помогает не только обживать город, но и смягчать символически нагруженные образы «чужаков» в новом пространстве.

«Однажды мы поставили свою инсталляцию на крышу гаража, в котором работала девушка из Москвы, она начала там свой бизнес по продаже секонд-хенд одежды. В этом гараже иногда проходили культурные события, и мы скооперировались — поставили на крышу инсталляцию и сделали лекцию про дом. Получается, что этот гараж сначала был личным, частным пространством, которое затем стало публичным. Есть похожий пример: человек снял квартиру с выходом на крышу и сделал там творческий музей. По сути, это крыша с QR-кодами, через которые можно прочесть о собранных экспонатах. Еще он организовывал там спектакли и чтения — разные полудомашние-полупубличные активности. А еще на крыше установили бассейн. Мне кажется, это часть переосмысления дома как пространства, которое уже не является только приватным».

В описанных сюжетах дом становится не просто «местом», а скорее сборкой людей, их опытов и ощущений. Подобная дематериализация пространства, когда оно перестает быть «предметом» и становится «процессом», вероятно, в большей мере характерна именно для неустойчивых, маргинализированных социальных групп [Smith, 2006]. Именно для них ощущение «временности» становится чем-то постоянным, фоновым, что приводит в том числе и к временности, безликости текущего места проживания, которое не становится домом и противопоставляется ему.

Еще одна идея, вынесенная из материалов проекта “Homeing” и отражающая самоощущение мигрантов — переосмысление чувства безопасности, ассоциированного с домом, а в некоторых случаях — изменение чувства привязанности к дому, поиск нового «ощущения дома», утрата этого ощущения. Мария добавляет, что в современном мире невозможно себя отождествлять с каким-то одним национально-культурным контекстом, в особенности тогда, когда индивид покинул прежний дом и проживает в разных языковых средах. А значит, фрагментарность дома становится чем-то неизбежным.



Илл. 3. Инсталляция на крыше гаража. Фото из архива Марии Кремер.

«В идеале хочется, чтобы дом давал ощущение безопасности. Но на базе собранных материалов мы увидели, что дом, город или даже страна не всегда выполняют эту функцию одинаково. Это ощущение может меняться — и вместе с этим меняется само чувство дома.»

Что вообще такое чувство дома сегодня? Может быть, это люди, с которыми ты перемещаешься, твоя семья? Кто-то говорит о фрагментарном доме: дом состоит из фрагментов — мест, людей, культур, воспоминаний, вещей. Это собирательный образ, который существует в голове. Мне кажется, идея фрагментарного дома связана с идеей принадлежности: кто я, какой у меня дом — не как постройка, а как идентичность в широком смысле.

Если говорить о себе, то в Армении я скорее не чувствую полной укорененности. Для меня это связано с опытом перемещения, но одновременно это и выбор, который манифестирует свободу».

Тезис об утрате дома ради свободы является, по-видимому, чем-то вроде культурной универсалии — подобная аргументация также обнаруживалась и в других исследованиях мигрантских сообществ [Бляхер и др., 2025]. В определенном смысле это является попыткой аргументировать, рационализировать свой выбор и «защитить» текущую неустойчивую позицию в новой социальной среде.

«Понятно, что не все могут себе позволить выбрать свободу. Многие выбирают укорененность — пусть временную, но укорененность. Например, рожают детей, покупают квартиру. Моя коллега переехала с детьми: они продали прежнюю квартиру, купили новую, сделали ремонт, обзавелись мебелью. И у них совершенно другое отношение к миграции, чем у меня. У меня нет детей, нет собак, я путешествую с лампой».

Вместо заключения: опыт прошлого vs освоение новых пространств

Мигрант не перестает быть мигрантом, если не происходит преодоление социокультурных границ и интеграция в новое сообщество [Бредникова, 2025], в том числе, через укорененность в пространстве и признание этого пространства «своим». Сквозной темой интервью стал сюжет детерриториализации, неопределенности, непривязанности к вещам и местам, и, в конечном счете, замедленной интеграции в новую социокультурную среду. Мария неоднократно упоминает в интервью, что “Homeing” стал прежде всего эмигрантским проектом: сделан эмигрантами, для эмигрантов и про эмигрантов, несмотря на то, что задумка была гораздо шире. Одно из возможных объяснений подобного эффекта капсулы — в том, что представления о прошлом выглядят для мигрантов более надежной опорой для самоидентификации, нежели зыбкие представления о будущем. Укоренение на новом месте неизбежно влечет за собой отделение от прежнего дома, принятие самого факта невозвращения



[Бредникова, 2025: 502–503]. И, напротив, перманентная мобильность и жизнь на два или более дома, идентификация себя через фрагментарный, расщепленный дом оставляет индивида в неукорененном состоянии, заужая его горизонт планирования и порождая, в частности, отношение к текущему жилью как к временному пристанищу, но не своему дому. Тогда чувство дома можно интерпретировать как чувство привязанности, в том числе, к той жизни, которая была в прошлом в стенах покинутого дома. Утраченный дом как символ прежней, понятной и устойчивой жизни, остается одним из идентификационных ресурсов мигранта в условиях неопределенности.

Литература / References

Бляхер Л. Е., Ковалевский А. В., Домченко А. С. Конструирование «чужого» на Дальнем Востоке: иностранный мигрант между правом и публичным страхом // Мир России. 2025. Т. 34. № 4. С. 6–28. DOI: <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2025-34-4-6-28> EDN: SVHQQQ

Bliakher L. E., Kovalevskiy A. V., Domchenko A. S. (2025) A Cage for Outsiders: The Image of the Migrant in Legal Perception and Among Migration Policy Actors in the Russian Far East. *Universe of Russia*. Vol. 34. No 4. P. 6–28. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2025-34-4-6-28> (in Russ.)

Бредникова О. Когда мигрант перестает быть мигрантом? (институциональные логики в граничной работе) // Журнал исследований социальной политики. 2024. Т. 22. № 3. С. 495–506. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2024-22-2-495-506> EDN: EDDGHA

Brednikova O. (2024). When Does a Migrant Stop Being a Migrant? (Institutional Logics in Border Work). *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 22. No 3. P. 495–506. DOI: <https://doi.org/10.17323/727-0634-2024-22-2-495-506>

Ваньке А. В. Прекарная занятость как «свободный» выбор? Интервью с работницей клининговой компании // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2017. Т. 9. № 14. С. 85–97.

Vanke A. V. (2017) Precarious employment as a «free» choice? Interview with the cleaning company employee. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 9. No. 14. P. 85–97. (in Russ.).

Гольман Е. А. Текстильный коллаж как художественный метод работы с индустриальной памятью: анализ проекта «Лучезарный город» Елены Шаргановой // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2024. Том 16. № 3. С. 33–48. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.3.2> EDN: YEANKF

Golman E. A. (2024) Textile Collage as the Artistic Method to Comprehend Industrial Memory: the Analysis of the Project “Radiant City” by Elena Sharganova. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 16. No. 3. P. 33–48. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.3.2> (in Russ.).

Жесько Э. М. Навигация по городской еде: о вкусах, местах и профессиях // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 14. № 2. С. 93–113. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.2.6> EDN: XYBQUL

Zhesko E. M. (2022) City Food Navigation: About Tastes, Places and Professions. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 14. No. 2. P. 93–113. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.2.6> (in Russ.).

Линч К. Образ города. Пер. с англ. В. Л. Глазычева. М.: Стройиздат, 1982.

K. Lynch (1960) *The Image of the City*. L.: MIT Press.

Омельченко Е. Л. «Я ничем вам не помог...»: исследовательская рефлексия вслед неудачному интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Том 12. № 1. С. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5> EDN: OPEJFA

Omelchenko E. L. (2020) “I didn’t help you in any way.”: Research Reflection After a Failed Interview. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 12. No. 1. P. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5> (in Russ.).

- Пешкова В. М. Семьи мигрантов из Центральной Азии в России: экспертный дискурс // Мир России. 2025. Т. 34. № 1. С. 106–129. DOI: 10.17323/1811-038X-2025-34-1-106-129 EDN: XUEGVU
- Peshkova V. M. (2025) Families of Migrants from Central Asia in Russia: Expert Discourse. *Universe of Russia*. Vol. 34. No. 1. P. 106–129 DOI: 10.17323/1811-038X-2025-34-1-106-129 (in Russ.).
- Klekotko M. (2024) *Scenes and Communities in the City*. Cham: Springer Nature. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-43464-8>
- Kovalevskii A. V. (2024) The Shimmering City: a view of Khabarovsk by different generations of transmigrants. *J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci.* Vol. 17. No. 10. P. 1863–1874. EDN: DAOCP
- Silver D., Clark T. (2014) The Power of Scenes: Quantities of Amenities and Qualities of Places. *Cultural Studies*. Vol. 29. No. 3. P. 425–449. DOI: <https://doi.org/10.1080/09502386.2014.937946>
- Smith L. (2006) *Uses of Heritage*. London: Routledge.
- Understanding Heritage: Perspectives in Heritage Studies* (2013) Ed. M.-Th. Albert., R. Bernecker, B. Rudolff. Berlin, Boston De Gruyter.

Сведения об авторах:

Анна Владимировна Стрельникова — кандидат социологических наук, доцент департамента социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН; руководитель проектной группы «Городская повседневность на микроуровне», Москва, Россия. **E-mail:** astrelnikova@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** 444024; **ORCID ID:** 0000-0003-1131-4358; **ResearcherID:** K-2789-2015.

Мария Михайловна Кремер — архитектор, художница, исследователь, основатель студии, архитектурно-исследовательская студия ZVON; основательница исследовательского арт-проекта "Homeing", Лос-Анджелес, США. **E-mail:** info@zvonstudio.com.

Статья поступила в редакцию: 01.05.2026

Принята к публикации: 01.06.2026

БАК: 5.4.4

.....

Leaving, Abandoning, and Going Away: Migration and Feeling of Home

DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.2

Anna V. Strelnikova HSE University; Institute of Sociology
of FCTAS RAS, Moscow, Russia
E-mail: astrelnikova@hse.ru

Maria M. Kremer Research and Architectural studio ZVON, Los Angeles, USA
E-mail: info@zvonstudio.com

This article presents a primary analytical study using materials from a single interview. The interviewee is a co-founder of the research art project "Homeing," dedicated to the perception



of lost home and an analysis of the meanings of home in the modern world. Key narratives are outlined, reflecting on the lost, abandoned, and forsaken home from two perspectives: from the interviewee's personal experience and from the perspective of the art project materials, which highlight the temporal and spatial effects of social transformations. The concept of "sense of home" becomes the basis for developing ideas about the unending adaptation of migrants and a conscious detachment from new places. The interview materials also demonstrate how creative data collection methods can be helpful for social researchers.

Keywords: temporal and spatial effects of social transformations, first-generation migrants, subjective social experience, sense of home

Authors Bio:

Anna V. Strelnikova — Candidate of Sociology, Associate Professor, HSE University; Senior Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS; Head of the Project Group "Urban Everyday Life at the Micro Level", Moscow, Russia. **E-mail:** astrelnikova@hse.ru. **RSCI Author ID:** [444024](#); **ORCID ID:** [0000-0003-1131-4358](#); **ResearcherID:** [K-2789-2015](#).

Maria M. Kremer — Architect, Artist, Researcher, Founder of Architecture practice ZVON and Research Platform "Homeing", Los Angeles, USA. **E-mail:** info@zvonstudio.com

Received: 01.05.2026

Accepted: 01.06.2026

Исследовательские дискурсы: субъектность исследователя



DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.3

EDN: KLMWBS

Стерильность невозможна: риски включенного наблюдения в медицине

Ссылка для цитирования:

Тукина Д. И. Стерильность невозможна: риски включенного наблюдения в медицине // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 3. С. 42–61. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.3> EDN: KLMWBS

For citation:

Tukina D.I. (2026) Sterility Is Impossible: The Risks of Participant Observation in Medical Settings. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 3. P. 42–61. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.3>



Тукина Дарья Игоревна

Социологический институт РАН —
филиал ФНИСЦ РАН; Европейский университет
в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: dtukina@eu.spb.ru

В статье рассматривается, как телесно переживаемый риск в ситуации первичной включенности в медицинскую практику становится условием производства этнографического знания. На материале включенного наблюдения в хирургическом отделении городской больницы в Западной Сибири (2020–2023), где автор работала волонтером-санитаркой, анализируется одна из первых полевых заметок. В центре внимания то, каким образом страх исследователя-новичка заразиться через кровь, заминка во время оказания помощи, сенсорная избирательность при взаимодействии с телом пациента и последующее нарративное самообъяснение этого делают видимыми некоторые аспекты социального порядка отделения. Теоретически статья опирается на карнальную социологию Лоика Вакана, концепцию embodied action и подход Джайды Ким Самудры к «насыщенному участию» (thick participation), переосмысленные применительно к анализу полевых заметок как формы фиксации кинестетических, сенсорных и нарративных следов телесного опыта. Показано, что страх перед контактом с кровью не просто сопровождает



включенное наблюдение, а организует внимание исследователя, выявляет различия в практических режимах восприятия опасности у санитарки, медсестры и исследователя-новичка, а также делает заметными профессиональные границы допуска, ответственности и контроля в практиках обращения с телом пациента, его ранами и отходами жизнедеятельности. Одновременно анализируются отсутствие страха и автоматизм действия в другом эпизоде наблюдения как не менее важные источники данных, позволяющие проследить вмешательство ранее усвоенного медицинского опыта в текущее полевое участие. Риск осмысляется как продуктивное условие, позволяющее наблюдать за скрытой организацией медицинской практики. Статья показывает, что самые первые дневниковые записи могут рассматриваться не только в качестве описания полевого случая, но и в качестве материала, в котором телесное вхождение в поле уже преобразуется в аналитически доступные данные.

Ключевые слова: включенное наблюдение; госпитальная этнография; карнальная социология; полевой дневник

Введение

Поле медицины и медицинского ухода сложно не назвать чувствительным, учитывая как то, что пациенты испытывают физические и эмоциональные страдания, вызванные болезнями, травмами и увечьями, так и то, что медицинские институции чувствительны к разного рода исследовательскому вторжению, которое может ставить под сомнение клиническую и организационную практику конкретных медицинских специалистов, руководителей и целых отделений. Вход в такое поле может становиться чувствительным и для исследователя медицины: встреча со смертью, наблюдение за уязвимыми группами информантов в ситуации (социального) страдания или практическое бессилие перед кажущейся несправедливой здравоохранительной системой порождают множество методологических рефлексий относительно того, что в итоге мы (не) спрашиваем у информантов, (не) записываем в полевой блокнот или на диктофон и (не) представляем читателю на выходе [Ansprach, Mizrahi, 2006]. Именно в этой перспективе чувствительность медицинского поля и исследовательского присутствия в нем стала предметом специфической рефлексии в западной медицинской антропологии и социологии медицины. Здесь ключевым чувствительным аспектом для исследователя выступает, как правило, этическое регулирование исследования, а также связанные с ним юридические и профессиональные риски для ученого, информантов-пациентов и информантов-медработников [Dilger, Huschke, Mattes, 2014]. В российских социальных медицинских исследованиях данная тематика также набирает оборот, приобретая форму анализа конкретных исследовательских затруднений, этнографических удивлений и удач, как, например: позиционирование феминистского социолога в процессе наблюдения за лечебным учреждением

[Новкунская, Литвина, Темкина, 2021], неожиданные способы выхода в закрытое поле на фоне эпидемиологического кризиса [Вятчина, 2022]; неизбежная телесная включенность исследователя в альтернативный лечебный процесс, находящийся в фокусе исследования [Алтухова, Клепикова, Пироговская, 2022]. Последняя статья примечательна тем, что выходит за рамки обсуждения этико-юридических рисков и последствий исследовательской работы в медицинской среде, вновь ставя вопрос о рисках для жизни и здоровья самого исследователя.

Риски данного рода обсуждаются крайне редко, поскольку современная этнография значительно вышла за пределы перманентной физической опасности в «диком» и неизведанном поле [Samudra, 2015: 18–19], а психологические риски теперь поддаются превентивному управлению, как кажется, благодаря психотерапевтическому повороту. В целом риски для жизни, здоровья исследователя и этические риски для исследования присущи этнографической работе в любом поле [Форум: Опасности поля, 2021: 29], не только в медицине, а вопросы позиционирования или шире — дистанции и вовлеченности [Пинчук, 2025] — общее место в антропологии и социологии на фоне послерефлексивного поворота.

Однако именно в медицинском поле, в отличие от многих других этнографических контекстов, риск для жизни и здоровья не выступает эпизодическим обстоятельством полевой работы, а составляет рутинный элемент институциональной и профессиональной среды: инфекционная опасность, контакт с кровью, другими телесными выделениями и медицинскими отходами, а также необходимость действовать в непосредственной близости к страдающему и уязвимому телу. И если для медицинских работников эти угрозы повседневно нормализуются режимами профессионального практического действия, то для исследователя, использующего метод включенного наблюдения, особенно когда он(а) впервые вовлекается в работу руками и телом, эта нормализованная профессионалами опасность проступает как личный и методологически значимый риск. Личный — потому что включенность в медицинскую среду сопряжена с реальной вероятностью инфицирования: от сезонных респираторных заболеваний (ротавирусы, ОРВИ) до инфекций с тяжелыми медицинскими и социальными последствиями (гепатиты, ВИЧ). Методологический — потому что можно легко упустить из виду то, что переживание опасности заражения не просто сопровождает включенное наблюдение, оно организует его: перенаправляет внимание исследователя, меняет темп и степень включенности, обостряет восприятие телесных и моральных границ ситуации, что отражается в записанных материалах. Такую зависимость я обнаружила при перечитывании первых полевых заметок, сделанных в моем первом медицинском поле. Я работала в нем не как сторонний наблюдатель, а через ритмы смен, чужую и собственную боль, рутину ухода и лечения, эпидемиологическую (не)безопасность больничного пространства, исполняя роль одновременно антрополога и младшего медицинского работника. Такой формат включенности позволяет поставить вопрос не только о риске как



условии работы в поле, но и о его эпистемической продуктивности. В данной статье я предлагаю рассмотреть, как переживаемый исследователем риск в ситуации первичной включенности в медицинскую практику становится условием видимости некоторых аспектов социального порядка, которые труднее «схватить» из позиции внешнего наблюдения или при уже ставшей рутинной вовлеченности. Каким образом телесно переживаемые опасность, страх, уязвимость и вовлеченность исследователя становятся частью производства этнографического знания? Для концептуализации этой связи между телесной вовлеченностью, практическим действием и производством знания я обращаюсь к подходу Лоика Вакана — к его «социологии плоти и крови» и идее энактивной этнографии, где включенное наблюдение мыслится как отказ от созерцательной дистанции ради схватывания *действия в производстве* и реконструкции тех когнитивных, конативных и аффективных схем (габитуса), которые вписаны в тело и проявляются как практическое знание *in actu* [Wacquant, 2015; Wacquant, Vandebroek, 2024]. Я анализирую свои первые полевые заметки о хирургическом отделении, в которых отражается, как некоторые разворачивающиеся события ощущались мной как опасные, а действия медработников воспринимались как рискованные. Меня будет интересовать, как этот риск и эта опасность, переживаемые телесно и ситуативно, структурировали мой режим внимания и включенного действия, запускали моральные самооправдания, а затем дискурсивно оформлялись в дневнике, то есть выступали одним из механизмов производства полевого знания.

Полевой контекст

В 2020–2023 годах я проводила включенное наблюдение в одной городской больнице в малом городе в Западной Сибири¹. Больница бюджетного стационарного типа, в ней находятся несколько отделений, в том числе хирургическое, которое было моим основным местом работы. Исследованный² больничный городок сталинских времен, расположенный на таежном закутке-отшибе среди частного сектора в получасе езды от центра города, — единственный на несколько близлежащих городов и деревень, где можно получить стационарную помощь. За четыре года систематических полевых выездов (от трех до семи недель) я сделала сотню заметок и дневниковых записей

¹ Такая анонимизация города и места, инициированная в бумажном виде администрацией больницы, была обязательным условием допуска в поле.

² По результатам этого исследования защищены магистерская и аспирантская диссертации: «Социальный порядок хирургического отделения и выстраивание профессиональных границ на примере одной городской больницы Западной Сибири», «Больница в малом городе глазами младшего медперсонала: моральная экономика и профессиональная этика» (факультет антропологии ЕУСПб, 2021 и 2024 годы соответственно). Также по материалам исследования готовится к защите кандидатская диссертация в СИ РАН — филиале ФНИСЦ РАН и монография «Будни санитарки: этнография больничной жизни» (при поддержке Фонда социальных исследований «Хамовники»).

общим объемом более 50 авторских листов, собрала более 30 аудиозаписей³ рабочих дней отделения и глубинных интервью с некоторыми санитарками, медсестрами и врачами. Особенностью моей включенности в поле было то, что я работала волонтером-санитаркой по гибкому графику. По предварительной договоренности с информантами я либо отработывала полную смену фактически наравне с ними (чаще всего в качестве санитарки перевязочного кабинета), либо помогала эпизодически и параллельно вела наблюдения, не привязанные к темпорально-пространственному измерению работы санитаря: я бывала в ординаторской, сопровождала медсестер по их делам в другие отделения, присутствовала на обходах врачей, малых операциях.

На всем протяжении полевой работы я находилась в близком контакте с пациентами, а также с биологическими жидкостями и отходами, хирургическими инструментами и медицинским оборудованием. Я встретила вторую волну пандемии COVID-19 в отделении, когда была наспех организована красная зона, а после хирургия закрылась на карантин вместе со всеми медиками, кто был на смене (через день после моего отъезда в другой город). В разные годы мы вместе наблюдали эпидемии ОРВИ, болезни и травмы пациентов, характерные для разных сезонов года и эндемичные данному региону. С каждым годом усиливался дефицит расходных материалов и медикаментов в отделении: не хватало даже стерильных перчаток для хирургов (пять пар на смену при загруженности в сорок пациентов!).

Эпидемиологическую неопределенность задавал и особый режим госпитального скрининга пациентов на опасные инфекции (гепатиты В, С, ВИЧ и сифилис). С 2020 года отделение отменило плановые госпитализации, при которых пациенты заранее сдавали анализы. В течение года в хирургическое отделение поступали только экстренные пациенты, доставленные бригадами СМП или прибывшие самотеком⁴. Результаты данного скрининга при поступлении зачастую отсутствовали, а местная лаборатория не всегда успевала выполнить исследования либо испытывала дефицит реагентов для их проведения. Получалось, что некоторые операции и последующий уход в первые сутки проводились без результатов тестов. Даже если врачи точно знали инфекционный статус пациентов, для медицинских сестер, а тем более для санитарок, эта информация была менее доступной. Поставые медицинские сестры могли ознакомиться с результатами анализов в медицинской карте пациента (это также передавалось перевязочным медсестрам), тогда как санитарки

³ Продолжительность каждой записи от трех до шести часов. Диктофонные записи были сделаны на телефон, вложенный в карман моей рабочей формы либо открыто лежавший на столах, тумбочках и подоконниках служебных и процедурных помещений. Медицинский коллектив не возражал против систематических записей. Методологическая рефлексия о том, как явленные информантам девайсы для сбора данных влияют на ситуативное взаимодействие с ними же, и об особенностях саундскейпа в медицинском пространстве (микрофон в шуршащих штанах медицинской формы!) специально не обсуждаются здесь, но учитываются при анализе полевой ситуации в данной статье.

⁴ Самостоятельное прибытие пациента (либо его доставка родственниками) в приемное отделение стационара за экстренной медицинской помощью без вызова скорой помощи и без направления врача.



узнавали о том или ином статусе из разговоров между медработниками. Так или иначе, такая неопределенность должна компенсироваться профессиональным медицинским правилом считать любого пациента потенциально инфицированным и принимать соответствующие меры предосторожности. Однако остается вопрос, как в действительности складываются практики работы с кровью (и другими биологическими жидкостями) у сотрудников разных уровней профессиональной иерархии. Для меня как исследователя со сложным статусом и ролью в отделении эта ситуация приобретала дополнительное измерение, которое будет обсуждаться далее.

Хотя основное наблюдение, разбираемое дальше в статье, относится к самым первым дням моего пребывания в отделении, мой вход в медицинское поле был не совсем первичным. Еще в школьные годы у меня был краткий опыт работы санитаркой в процедурном кабинете малых гинекологических операций другой больницы. Этот опыт не включал уход за пациентами в палатах и антропологическую исследовательскую работу, однако он оставил некоторые фрагментарные знания о больничной рутине, уборке, обращении с инструментами и утилизации отходов в хирургии. Для дальнейшего анализа это обстоятельство оказывается существенным: в поле 2020 года я одновременно была и новичком в конкретном отделении другого города, и носителем некоторого усвоенного медицинского опыта, который в тот момент оставался для меня самой не вполне явным, но который был эксплицирован по ходу анализа материалов.

Стоит также добавить, что в 2024 году я поступила в медицинский колледж на «Сестринское дело», и в 2024/2025 учебном году проходила практику в нескольких больницах Санкт-Петербурга, большую часть времени — на базе городской многопрофильной больницы с иным уровнем диагностических возможностей и ресурсным обеспечением (но все еще неравномерным) и иной организационной плотностью. В своем новом статусе студентки-медика я участвовала в процессе лечения и ухода уже на других основаниях, с более расширенным перечнем возможностей проведения медицинских манипуляций. В каком-то смысле из «участника в роли» за шесть лет я превратилась, возможно, в «участника в роли по опыту» [Пинчук, 2025: 48–49], поскольку моя вовлеченность в медицинскую среду стала в какой-то момент нерефлексируемой повседневностью, которую я пытаюсь переосмыслить, инициировав обсуждение в данной статье. Важным в этом контексте остается то, что, попав в хирургическое отделение впервые шесть лет назад, я пребывала там в роли новичка, который мало ориентировался в местном социальном порядке дискурсивно и практически, а также не умел действовать профессионально, по-медицински. Тем ценнее видится анализ первых полевых записей в дневнике с позиции карнальной социологии. Такие заметки можно читать как документ не просто о чуждом социальном порядке отделения, который предстоит описать исследователю, а как о моменте столкновения двух телесных культур — обыденной и профессиональной, когда некоторые сенсорные, кинестетические, когнитивные режимы еще не успели стать для меня само собой разумеющимися.

Как сделать телесный опыт данными

В первый день работы я пыталась одновременно видеть всех и вся, еще не умея настраивать «фокус», «линзу», «оптику». Я старалась быть полезной любому медицинскому работнику, который мог окликнуть меня, попросить что-то сделать, хотя совершенно не знала, как устроены любые виды работ в этой больнице. Другими словами, я входила в это поле в позиции двойного новичка: с одной стороны, как антрополог, поскольку это была моя первая самостоятельная полевая работа в таком качестве во время обучения в магистратуре; с другой — как санитарка конкретного хирургического отделения, поскольку, несмотря на имевшийся у меня краткий опыт схожей работы, я еще не обладала какой-либо практической уверенностью и не освоилась в местной больничной рутине, что позволило бы мне действовать в подобной среде как в привычном профессиональном пространстве.

В моем полевом дневнике первой была сделана заметка, написанная почти без временной дистанции от самого полевого случая. Она приводится здесь как знак того, как поле впервые «собрало» меня, и как я в ответ начала «собирать» его в письме. Заметка была написана от руки в тетради формата А4, а затем перепечатана без изменений в электронный документ:

«В одной из палат лежит мужчина около 65 лет, у него холецистит и еще ряд других проблем, связанных с печенью. Его доставили в отделение в состоянии алкогольного делирия (белая горячка алкогольная), и у него временно отказали ноги. Он не может ходить, но по ночам и иногда днем у него проявляется возбужденное состояние организма: он пытается убежать, падает с кровати, кричит. Сейчас в обед он опять упал с кровати, а постовая медсестра крикнула всем санитаркам, что его надо поднять. Получилось так, что рядом оказалась только я и Надя (палатная санитарка, 65 лет). Я была без перчаток, потому что не успела натянуть их, ведь мы бежали помогать пациенту. Когда мы пришли на место, я не решалась взять его за руки, потому что помнила, что ему постоянно ставят капельницы, а он пытается вырвать катетер. То есть его руки могли быть запачканы кровью, и я боялась притрагиваться к мужчине, не зная, болеет ли он какими-либо инфекциями. Надя заметила, как я мешкаюсь, и сказала: „Бери под руки, чего боишься, чистый дед, я мыла его“. Она подумала, что я брезгую, потому что весь медперсонал, включая меня, знали, что этот пациент был доставлен в больницу не в самом „опрятном“ состоянии. Меня же беспокоила возможность заражения, ведь я была без перчаток».

На этом же развороте тетради спустя два дня появилась запись в продолжение:

«Спустя пару дней я совершала перевязочный обход с медсестрой к этому же пациенту. Я была в перчатках, аккуратно снимала с него



лейкопластырь с повязкой. Медсестра заметила, что я делаю это не так, как с другими пациентами: я старалась касаться его меньше, чем других. Она указала мне на это: „Да не бойся ты его, отрывай“. Я боялась, потому что на его повязке был достаточный объем крови и других выделений для заражения при неаккуратном обращении. Но интересно, что когда я сложила повязку в специальный медицинский лоток для отходов и собиралась его отнести в перевязочную, медсестра сказала, чтобы я не трогала его и что она отнесет сама. Подобное уже случалось в моей практике работы санитаркой в хирургическом отделении: мне не позволяли обращаться с отходами разного класса от пациентов, у которых были диагностированы ВИЧ или СПИД».

Полевой дневник — основной инструмент работы антрополога и социолога при включенном наблюдении. Способам этнографического письма, жанровости и стилистике полевых заметок посвящена богатая методическая и методологическая литература [Sanjek, 1990; Atkinson, 1992; Emerson, Fretz, Shaw, 2001, 2011]. Однако фактически исследователи редко презентуют свои «сырые» полевые записи — заметки, зафиксированные почти непосредственно в ситуации наблюдения и еще не претерпевшие последующей аналитической обработки. Именно поэтому далее я сосредотачиваюсь только на одной, самой первой заметке, делая видимой эту часть этнографической работы. Аналитическая ценность первой заметки антрополога связана не с репрезентативностью описанного сюжета, а с тем, что в ней еще не сглажены первоначальные аффективные и телесные реакции на поле. В ситуации первого вхождения в отделение микродинамика взаимодействия между мной, медработниками и пациентом происходит не в контексте уже знакомого и упорядоченного профессионального мира, а в условиях страха, сомнения, подозрения, заминки, неловкости и телесной неуверенности новичка. Такая запись позволяет анализировать не только сам эпизод, но и процесс настройки исследовательского восприятия: что именно оказывается видимым, какие опасности аффективно выделяются в письме, какие элементы взаимодействия остаются за пределами внимания, а также с помощью каких слов исследователь впоследствии делает собственные действия для себя объяснимыми и приемлемыми.

В настоящей статье я обращаюсь к заметке в следующей аналитической перспективе. Меня интересует не только то, какие локальные классификации чистоты и загрязнения в ней проявляются, но и то, как через телесную вовлеченность, аффективную реакцию и сенсорную избирательность производится знание о поле. Иными словами, я рассматриваю запись не только как источник сведений о профессиональной культуре отделения, но и как след практического познания, возникающего внутри действия и под давлением ситуации. Подобную рамку предлагает Лоик Вакан. В его карнальной социологии исследователь, будучи социальным агентом и носителем определенного габитуса, познает изучаемый мир не только через наблюдение и последующее описание, но и через телесное освоение практик, ритмов, реакций и форм внимания, организующих повседневную жизнь исследуемого сообщества

[Wacquant, 2004]. Обучаясь какой-либо компетенции исследуемого сообщества, например, способам ухода в медицине, мы можем детально описать embodied action, подобно тому, как этнометодологи анализируют речь, чтобы вскрыть социальные схемы миров своих информантов [Wacquant, Vandebroek, 2024: 138]. В этой перспективе телесные реакции исследователя не сводятся к субъективным помехам или дескрипциям наблюдения, напротив, именно через них можно уловить те изменения практики, которые еще не успели превратиться в оторефлексируемое знание.

Однако признание эвристической значимости телесного опыта сразу ставит две методологические проблемы. Во-первых, как перевести этот опыт в данные? Как превратить страх, сенсорное подозрение, паузу, заминку, импульс отдернуть руку или, наоборот, автоматизм действия в аналитически значимый материал? Иначе говоря, как перевести телесное участие в форму письма, не уничтожив при этом ситуативность и «плотность» события? Во-вторых, чем успешнее исследователь осваивает поле, тем быстрее усваиваемые способы движения, реакции, распределения внимания и обращения с телами и биологическими жидкостями начинают работать как само собой разумеющиеся. В какой-то момент исследователь не только учится действовать нормативно, но и перестает замечать саму социальную специфичность этих телесных схем.

Для уточнения вакановской логики важна работа Джайды Ким Самудры, медицинского антрополога, изучающей боевые искусства силат [Samudra, 2008]. Размышляя о лингвистической ограниченности описания телесного опыта, Самудра предлагает рассматривать то самое embodied action не как нечто принципиально невыразимое, а как то, что может быть зафиксировано в письме разными способами. Она выделяет несколько уровней такой фиксации: во-первых, запись кинестетических деталей — поз, жестов, перемещений, положений тела в пространстве; во-вторых, фиксацию сенсорных ощущений (sensory impressions), то есть того, как ситуация ощущается разными органами чувств; в-третьих, фиксацию соматических нарративов, через которые телесный опыт получает первичное словесное оформление и становится высказанным [Samudra, 2008: 669–677]. В этом отношении полевая заметка оказывается не просто описанием события, а местом, где телесное участие начинает преобразовываться в данные, то есть формой аналитической артикуляции воплощенного опыта. Более того, анализ полевых заметок по этим трем осям может быть способом развоплощения (disembodiment) [Prentice, 2008: 55]. Если у Вакана телесное освоение практики выступает условием познания, то развоплощение обозначает рефлексию над этим освоением, то есть процедуру, позволяющую вновь сделать заметными те практические схемы, которые стремятся стать привычкой. Именно в этом смысле ранняя полевая запись представляет особую аналитическую ценность. Она фиксирует еще не завершившуюся рутинизацию восприятия и действия и тем самым позволяет увидеть момент формирования профессионально релевантной чувствительности. Мое повторное обращение к этой заметке выступает как практика частичного развоплощения: я анализирую не просто описанный случай, а собственный процесс телесной настройки на поле, еще не успевший



полностью стать автоматическим. Далее я вновь обращаюсь к этой записи, удерживая во внимании все три уровня фиксации телесного опыта, выделенные Самудрой, и рассматриваю, как через страх, заминку, сенсорную избирательность и последующее самообъяснение в ней становятся наблюдаемыми различия в режимах восприятия опасности, загрязнения и допустимого контакта в исследуемом отделении.

Страх как аналитический ресурс

В магистерской диссертации данная заметка уже становилась предметом анализа и легла в основу насыщенного описания локальных представлений о «чистом» и «грязном» в хирургическом отделении. В том анализе я опиралась на работу Мэри Дуглас [Дуглас, 2000] и показывала, каким образом символические классификации чистоты и загрязнения поддерживают и воспроизводят социальный порядок отделения и профессиональную иерархию. Так, для санитарок чистота относится прежде всего к бытовой и моральной опрятности пациента и помещения, что также видно из заметки, когда санитарка Надя говорит: *«я мыла его», «чистый дед»*. В этой системе координат кровь сама по себе не обязательно становится центральным объектом внимания, если она не маркирована сверху как источник инфекционной угрозы или опасности (например, медсестрой или врачом), и может отступать на второй план. Она воспринимается как часть неубранного пространства и «грязного» пациента, которого необходимо привести в порядок для дальнейшей работы медсестер и врачей, для процедур и операций. Поэтому Надя не высматривает повязку на руке пациента, не фокусирует внимание на состоянии катетера, которое так волновало меня, — она спешит быстрее поднять пациента, ожидая моей посильной помощи. Я же опасаюсь крови пациента, которую даже не вижу, останавливаю активные действия и замираю, как видно из отрывка.

На кинестетическом уровне заметка прежде всего фиксирует сбой в привычном для медсестры и санитарки действии, а также мою неопытность как участника такого медицинского взаимодействия. Страх перед кровью пациента, чей инфекционный статус был для меня неочевиден, проявляется в записи через выражения *«не решалась взять за руки», «боялась притрагиваться», «мешкаюсь», «аккуратно снимала его», «старалась касаться меньше»*. Эти формулировки важны как следы телесной настройки в самой ситуации. Пауза перед тем, как взять пациента под руки, и последующая нарочитая осторожность при снятии повязки показывают момент столкновения разных режимов практического знания. И санитарка, и медсестра реагируют именно на мои движения — еще до того, как я успеваю проговорить смысл своих колебаний. Санитарка замечает мою заминку, переводит ее в регистр гигиенической грязи, поторапливает меня: *«Бери под руки, чего боишься»*, — и призывает не брезговать именно потому, что она уже привела пациента в тот порядок, который делает мужчину опрятным, а прикосновения к нему — безопасными, в смысле — не противными для санитарок (*«чистый дед, я мыла его»*).

Медсестра же считает мою осторожность как неправильную технику выполнения микропроцедуры отрыва пластыря: она сочла, что мой темп слишком медленный, а движения неловки (*«Да не бойся, отрывай»*), — то есть переводит мою технику тела в регистр профессиональной манипуляции с телом пациента. Я же осознаю свои заминки и описываю их в категориях действия уже после, при этом обосновываю чувство страха и опасности через очевидную (для меня) биомедицинскую угрозу крови (*«Меня же беспокоила возможность заражения, ведь я была без перчаток»*). То, что в обоих случаях мои действия поддаются коррекции сразу, без вопросов о том, что же случилось, показывает, что значимая часть знания в рабочем пространстве существует в форме телесных готовностей и процедурных автоматизмов, а не формулируется набором артикулированных правил. В вакановском смысле, здесь профессиональное знание разных акторов о том, как надо делать, доклично и процедурно [Wacquant, Vandebroek, 2024: 137; Wacquant, 2015: 3]. Оно вписано в тела как разные перцептивные решетки и готовность действовать, образуя социальный порядок отделения. А сбой в действовании показывает, какие опасности считаются реальными и как они делегируются вниз по иерархии.

Санитарка и медсестра обучают меня «правильной» чувствительности тела, но эта норма отлична для обеих профессиональных позиций. Для палатной санитарки кровь оказывается частью нормализованной рутины ухода, тогда как ключевая различительная схема выстраивается вокруг опрятности, гигиенической чистоты пациента. Для перевязочной медсестры кровь включена в рутину иначе: она тоже является частью ухода, но читается прежде всего через технику перевязки и инфекционный контроль процедуры (надеты ли перчатки, стоит ли специальный лоток для отходов). Надя, палатная санитарка, бежит поднимать пациента без перчаток, потому что *«постовая медсестра крикнула всем санитаркам, что его надо поднять»*. Она находится в прямом подчинении медсестры и выполняет именно свою работу, но что более важно — большей проблемой для себя и для меня она считает немытость мужчины, чем то, что его повязка могла развязаться, а из катетера — литься кровь.

Если на кинестетическом уровне заметка «схватывает» мою заминку, то на сенсорном уровне она показывает, каким образом опасность определяется в моем поле восприятия. Мой взгляд буквально (в тексте) сужается до катетера, повязки, крови, голых рук и отсутствия перчаток. Напротив, одежда пациента, его общая телесная (не)опрятность, состояние палаты или иные признаки «грязи», значимые для санитарки, почти не попадают в мой фокус. Как не попадают и другие гипотетические описания физического окружения: запахи хлорки и урины, часто витающие в пациентских палатах; было ли солнечно за окном или дождливо; покраснела ли я от бега и волнения за первое задание. Заметка совершенно ничего не сообщает нам и о внешности пациента, санитарки или медсестры. А также о том, как реагирует пациент на действия медработников. Страх в этом контексте не просто замедляет действие, он организует избирательность восприятия. Кровь становится фокусом. При этом крови могло и не быть на месте повязки (контакта с кровью



без перчаток действительно не произошло), но в заметке явно отражается то, что у меня в принципе возникло настороженное подозрение об опасности, «...потому что помнила, что ему постоянно ставят капельницы» и «его руки могли быть запачканы кровью». Такое же подозрение возникло и повторно, когда я работала уже в перчатках, но непосредственно с повязкой пациента, что видно во второй заметке: «На его повязке был достаточный объем крови и других выделений для заражения при неаккуратном обращении». Медсестра не считала такой контакт угрозой, ведь мы работали сообразно правильной технике манипуляции, то есть были в перчатках. Но то, что я опять подозревала опасность (вдруг эта несчастная перчатка порвется!), говорит нам о другой соматической организации работы. Тело медсестры автоматически доверяет процессу манипуляции в перчатках, тело санитарки готово трогать любого пациента голыми руками, в то время как мое тело новичка в отделении — еще нет.

Отсутствие страха как аналитический ресурс

Ранняя заметка позволяет увидеть не только те моменты, где мое тело тормозит, но и те, где оно действует без колебания. Если в предыдущем эпизоде аналитически продуктивным был страх, то здесь не менее важным оказывается отсутствие страха или, точнее, отсутствие пауз. Именно такие фрагменты особенно хорошо выявляются в перспективе развоплощения, поскольку в момент записи они почти не переживаются как проблемные и потому легко остаются незамеченными. В начале статьи я отметила, что пребывала в отделении в статусе новичка на момент написания анализируемой заметки. Но в этой же заметке видно, что я уже имела опыт работы в больнице в схожей роли: «Подобное уже случалось в моей практике работы санитаркой в хирургическом отделении...». С точки зрения развоплощения упоминание моего прежнего опыта работы санитаркой приобретает иной смысл. В самой заметке оно появляется лишь как фрагмент знания-что (knowing that): я помню, что «мне не позволяли обращаться с отходами... ВИЧ или СПИД». Но повторное чтение записи показывает, что в действии присутствовало и знание-как (knowing how to) [Wacquant, Vandebroek, 2024: 137]: некоторые практические схемы уже были телесно седиментированы (sedimented) [Wacquant 2015: 3–4] прежним опытом, хотя в момент работы в поле я этого не осознавала. А именно: в последнем абзаце заметки отмечено, что я без специальной отмашки медсестры взялась за лоток с отходами, чтобы отнести его и рассортировать в перевязочном кабинете, поскольку так *всегда делали* перевязочные санитарки в отделении, где я подрабатывала в школьные годы. Здесь у меня не возникло пауз, страха, чувства опасности, и даже более — сработало инициативное действие, потому что оно является обыкновением для моего тела, помещенного в контекст утилизации медицинских отходов («...я сложила повязку в специальный медицинский лоток для отходов и собиралась его отнести в перевязочную»).

Если в первом эпизоде полевая запись удерживает телесную паузу, то здесь она, напротив, позволяет заметить автоматизм. На кинестетическом уровне это выражено в инициативности самого жеста: я без дополнительной инструкции беру лоток и собираюсь отнести его в перевязочную. На уровне переживания этот жест не маркируется страхом или сомнением, но «правильность» моего жеста делает заметной последующую коррекцию со стороны медсестры. Она резко остановила меня, что делает видимым еще один слой соматической организации труда в отделении: риск не только по-разному определяется, но и по-разному распределяется. Я как санитарка-волонтер, не имевшая формализованной позиции медицинского работника в отделении, оказалась в тот момент не допущенной к утилизации отходов класса Б и выше⁵. Все инструменты и материалы, что *потенциально* инфицированы (имели контакт с биологическими жидкостями пациента), находятся в зоне ответственности медсестер. Они отвечают за их предстерилизационную обработку и утилизацию. В заметке мое действие и реакция медсестры оформлены связкой «*Но интересно, что...*», и это произвело мое полевое знание в тексте через парадокс. Мне казалось, что контактировать с повязкой пациента в перчатках более рискованно, чем контактировать в перчатках с лотком (тем более, подхватив его за донышко), поэтому меня риторически удивила логика реакции медсестры. Я была убеждена, что пациент — это менее контролируемый и безопасный объект, который может еще и «кровить» в отличие от лотка, в который не обязательно лезть руками даже в перчатках. Я объяснила себе этот парадокс здесь же в заметке, обращая внимание на то, что этот протокол связан с распределением риска заражения ВИЧ и СПИД среди медицинских работников, о чем я знала из предыдущего опыта. А раз я к этой категории не относилась, то, по логике отделения, на меня не должны были возлагать этот уровень риска и ответственности за потенциально инфицированные отходы, ведь последствия могли конвертироваться в юридическую ответственность отделения. Отчасти такое объяснение может работать, но имея в виду недавний опыт профессиональной социализации среди медсестер, хочется добавить, что правило утилизации — не просто дискурсивное, но воплощенное в том, как медсестры контролируют обращение с отходами. Меня и моих коллег-практикантов медсестры разных отделений не раз останавливали и уточняли, что мы можем выкидывать, а что нет; демонстративно наблюдали, как мы сортируем отходы, обучая СанПиНам и локальным правилам утилизации медицинских отходов. Тот факт, что медсестра из приведенного отрывка обратила внимание на мое действие с лотком и пресекла меня, очерчивает профессиональные границы дозволенного и возможного в отделении. При этом лоток и отходы попадают в поле видимости медсестры и удерживаются ею сенсорно как зона повышенного внимания и контроля, что стало очевидным для меня только при возвращении к старой полевой заметке, то есть в момент аналитического развоплощения того, что тогда казалось

⁵ Спустя время, когда я убедила медсестер и врачей в том, что готова работать с отходами на свой страх и риск, беря полную на ответственность на себя, меня допустили к работе с инструментами, лотками и пр.



парадоксом. Развоплощение, таким образом, помогает проблематизировать и собственную автоматичность (инициативу без паузы, отсутствие страха, уверенное обращение с отходами) в поле, которое только кажется *новым*. До этого анализа я не видела настолько отчетливо, как краткосрочный опыт десятилетней давности телесно вмешался в мое практическое действоание и задал траекторию инициативной работы с банальным лотком. А сам запрет трогать лоток подсветил не столько реальную опасность объекта как такового, сколько границу допуска, ответственности и контроля. В этом смысле отсутствие паузы с моей стороны и последующая внешняя коррекция показывают то же самое, что и заминка из предыдущего раздела: социальный порядок отделения вписан в тело и воспроизводится через телесно распознаваемые пределы дозволенного.

Методологическая проблема энактивной этнографии, собственно, и состоит в опасности привыкания к каким-либо практикам, особенно воплощенным через тело исследователя. На длинной дистанции осваиваемые навыки, привычки превращаются в рутину и перестают фиксироваться, потому что становятся частью «рабочего тела». Достаточно быстро, уже в ту же первую поездку в поле, мои руки регулярно оказывались запачканными кровью, но какое-либо опасение перестало попадать в полевой дневник. Даже когда я отбирала полевые фотографии для доклада, ставшего заделом для данной статьи, то с удивлением обнаружила, как из них с течением времени исчезло присутствие крови. Через шесть лет после первой заметки я перевела свой объектив телефона на рабочее место медсестер и врачей, их «одомашненные» оазисы в медицинских помещениях, инфраструктуру отделений, пациентские карты. Из фотоархива ушли отходы с кровью, раны пациентов, почечные камни после операций и другие хирургические «находки». В этом смысле то, что со временем исчезает из поля зрения и перестает восприниматься как опасность, — такой же полевой факт, как и изначальное чувство страха новичка.

Почему было страшно?

До этого момента я анализировала главным образом телесную организацию действия, однако производство полевого знания не исчерпывается описанием уровней кинестетических схем и сенсорных ощущений. Не менее важен и тот факт, что уже в самой записи пережитое действие немедленно получает моральную и риторическую обработку. Это третья ось анализа полевых заметок по Самудре — соматический нарратив. На уровне соматического нарратива заметка фиксирует уже не сами движения и профессиональные телесные интуиции и не непосредственное сенсорное выделение опасности, а те словесные формы, через которые я делаю собственное действие понятным для себя самой и — впоследствии — для читателя (однокурсников-антропологов, преподавателей и академического сообщества). Здесь развоплощение означает внимание к тому, как телесно пережитая ситуация ретроспективно упорядочивается в письме: какие детали получают объяснительную силу, какие

моральные акценты расставляются, какие подозрения остаются не до конца проговоренными.

В этом смысле мой анализ опирается на более широкую традицию рефлексии о позициональности исследователя. Конечно, мы активно анализируем и имеем в виду схемы восприятия через призмы бурдьезианской включенной объективации [Пинчук, 2025: 45–46], феминистской позициональности [Новкунская, Литвина, Темкина, 2021: 64–65] и антропологического рефлексивного поворота, иногда даже сознательно используя культурно приемлемые отговорки для информантов, чтобы поле не сломало наше тело [Алтухова, Клепикова, Пироговская, 2022: 187–188]. Однако в данном случае меня интересует прежде всего не управление исследовательской позицией, а то, как она проявляется внутри конкретной полевой записи — через риторический отбор деталей и моральное самообъяснение собственных действий. В анализируемой заметке нельзя обойти некоторые риторические детали, очевидным образом отражающие мои преддискурсивные схемы и влияющие на производство полевого знания и последующие интерпретации.

Описание пациента (*«мужчина около 65 лет, у него холецистит и еще ряд других проблем, связанных с печенью»*) выполняет сразу несколько функций. С одной стороны, оно воспроизводит жанр клинического рассказа, где тело объективируется через диагноз и набор симптомов. С другой — незаметно включает пациента в социально-моральную категоризацию: *«алкогольный делирий»*, *«проблемы с печенью»*, *«неопрятность»*, *«неконтролируемое поведение»* начинают складываться в образ неблагополучного пациента. В полевой заметке виднеется узел ассоциаций (алкоголь во взрослом возрасте, болезнь печени, неопрятность → алкозависимый и из-за этого неблагополучный пациент), который риторически аргументирует страх заражения. В заметке я эксплицитно объясняю самой себе, почему возникло чувство опасности, когда мне нужно было поднять пациента за руки без перчаток: пациент мог расшатать свой катетер. Создаваемая фигура неблагополучного пациента не проговаривается как источник опасности напрямую, но именно она, по видимому, поддерживает фоновое подозрение в инфицированности крови пациента. Письменно я сделала акцент на физическом состоянии катетера и повязки, а не на социальном подозрении пациента в инфекционной неблагонадежности. В таком фокусе кровь является и биологической жидкостью, и носителем морального, при этом важно не то, что изобличает мой собственный стереотип, а то, как он активировал определенную схему настороженности, а полевая запись потом дала ей приемлемую форму объяснения.

Аналогичным образом работает и фраза о том, что *«мы бежали помогать пациенту»*. Она не просто сообщает обстоятельства ситуации, а ретроспективно оформляет мой вход в эпизод в морально приемлемом ключе. Спешка здесь получает гуманистическое оправдание: я не успела надеть перчатки не только из-за неопытности, а потому что была включена в безусловно правильное оказание помощи, которое продемонстрировала мне санитарка Надя, также не надевшая перчатки и побежавшая к пациенту по зову медсестры. Такая риторическая рамка важна именно как элемент соматического



нарратива: она описывает, как телесно рискованное действие становится для меня самой этически допустимым. Встраиваясь в этически приемлемый для меня сюжет безоговорочной помощи, я ретроспективно легитимирую спешку. Однако в реальном рабочем прагматизме подобная спешка палатной санитарки Нади означала скорее необходимость предотвратить дополнительные рабочие проблемы: если пациент окажется на полу, то он его испачкает, откажется вставать, мешая другим пациентам и медработникам, попытается убежать, иными словами, произведет ту самую «грязь» в помещении и беспорядок в отделении. Мне же было важно представить себя старательной работницей и оправдать свое присутствие в поле через полное вовлечение наравне с медицинскими работниками: раз Надя побежала, то и я побегу — ведь пациент в приоритете.

В этом смысле полевая заметка действительно может быть прочитана как срез габитуса в перспективе Вакана: не потому, что она напрямую раскрывает некую внутреннюю систему установок, а потому, что в ней фиксируется переход от телесной реакции к ее словесному оформлению. Через риторический отбор деталей, через моральную легитимацию собственной спешки, через смещение акцента с социального подозрения на биомедицинскую угрозу запись демонстрирует, как воплощенный опыт становится нарративизированным и тем самым превращается в данные. Сам способ письма не только сообщает, что произошло, но и демонстрирует, как я училась быть телом в поле и одновременно училась делать это тело читабельным для академического текста.

Таким образом, повторное чтение ранней полевой заметки в подобной теоретической сборке позволяет увидеть, что она удерживает сразу несколько слоев воплощенного действия, которое затем конвертируется в записанное полевое знание. На кинестетическом уровне в ней фиксируются пауза, заминка и последующая коррекция действий со стороны разных участников профессионального взаимодействия; на сенсорном — избирательность восприятия, где кровь, катетер, повязка и отсутствие перчаток становятся центральными маркерами опасности для меня, но не для санитарки и медсестры; на нарративном — моральные самообъяснения, стереотипизирующие ассоциации и риторические формы, делающие чужое и собственное поведение осмысленным и приемлемым. Именно совмещение этих трех уровней и позволяет рассматривать заметку не просто как описание эпизода, а как материал, в котором телесное вхождение в поле уже преобразуется в аналитически доступные данные.

Заключение

Риски включенного наблюдения в медицинском поле, сопряженные с вероятностью заражения, стоит понимать не только как ограничение, которое, например, закрывает доступ к работе с определенной группой информантов или в определенном отделении. И не только как условие самого наблюдения, хотя в медицинском поле кровь, как и смерть, боль, страдания, по-видимому,

оказываются одной из тех «цен участия», которые в принципе делают возможным этнографическое знание. Негласные порядки и привычный для медицины способ работать с кровью вмонтированы в темп и структуру труда, и это открывается только при непосредственном участии в обращении с кровью, к сожалению или к счастью начинающих исследователей. Но главное, что риски включенного наблюдения являются условиями производства этнографического знания. В ситуации первичного вхождения в работу хирургического отделения страх заражения, телесная неловкость, настороженность и последующая рефлексивная обработка собственного действия позволяют зафиксировать те профессиональные практические нормы, иерархии чувствительности и режимы обращения с опасностью, которые для самих участников уже стали рутинными и потому малозаметными. В этом смысле риск оказывается способом сделать поле аналитически видимым.

Обращение к embodied-подходу позволяет показать, что исследователь в медицинском поле никогда не является «стерильным» инструментом сбора данных. Сама медицинская среда далека от стерильности как социальная практика: несмотря на нормативное стремление к асептике и антисептике, она постоянно организована вокруг контакта с кровью, телесными выделениями, болью, инфекционной угрозой и нарушением границ тела. Санитарки могут работать без перчаток, перчатки медсестер могут рваться, а в ситуации ресурсного дефицита даже врачи могут работать без стерильных СИЗов. Но не «стериллен» и сам процесс наблюдения: вход в поле сопровождается страхом новичка, более или менее осознаваемыми предрассудками и стереотипами, предшествующим телесным опытом и ситуативными схемами настороженности, которые формируют не только поведение исследователя, но и способ фиксации происходящего в полевом дневнике. Полевая запись потому представляет собой уже обработанный след embodied-вовлеченности, в котором телесная реакция получает приемлемую форму описания и объяснения. «Стерильность» невозможна и как буквальное состояние медицинского пространства, и как эпистемологический идеал этнографического присутствия. Исследователь входит в социально организованные режимы работы с полевыми рисками, не избавляясь от собственной телесности, а узнает через нее устройство поля. Это позволяет рассматривать ранние полевые заметки не как вторичный или «черновой» материал, которого молодые исследователи могут стесняться, а как удивительную точку доступа к тому, каким образом опасность, уязвимость и телесная включенность становятся частью исследовательского знания.

Литература / References

Алтухова А. Н., Клепикова А. А., Пироговская М. М. Здравствуй, хрусть! или Печальные хроники // Антропологический форум. 2022. № 54. С. 177–190. EDN: [MWWEWZ](#)

Altukhova A. N., Klepikova A. A., Pirogovskaya M. M. (2022) Hello, Crunch! or Sad Chronicles. *Antropologicheskii forum* [Forum for Anthropology and Culture]. No. 54. P. 177–190. (In Russ.)

Вятчина М. В. О больничной этнографии и возрастающем пациентском неравенстве // Антропологический форум. 2022. № 52. С. 27–31. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2022-18-52-11-82> EDN: [YRSYVU](#)



Vyatchina M.V. (2022) On Hospital Ethnography and Growing Patient Inequality. *Antropologicheskii forum* [Forum for Anthropology and Culture]. No. 52. P. 27–31. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2022-18-52-11-82> (In Russ.)

Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу / Под ред. С. Баньковской / Пер. с англ. Р. Громовой. М.: Канон-пресс, 2000.

Douglas M. (2000) *Chistota i opasnost. Analiz predstavleniy ob oskvernenii i tabu* [Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo]. Ed. by S. Bankovskaya. Transl. from Eng. by R. Gromova. Moscow: Kanon-press. (In Russ.)

Новкунская А., Литвина Д., Темкина А. «Социологи в белом»: конструирование профессиональной позиции в медицинском поле // *Laboratorium: журнал социальных исследований*. 2021. Т. 13. № 3. С. 57–87. DOI: <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-3-57-87> EDN: UFPMFG

Novkunskaia A., Litvina D., Temkina A. (2021) "Sociologists in White": Constructing a Professional Position in the Medical Field. *Laboratorium: zhurnal sotsial'nykh issledovaniy* [Laboratorium: Journal of Social Research]. Vol. 13. No. 3. P. 57–87. DOI: <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-3-57-87> (In Russ.)

Пинчук О. В. На границе ролей: ролевая двойственность и лиминальное знание в полевой этнографии // *Интеракция. Интервью. Интерпретация*. 2025. Т. 17. № 4. С. 33–55. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.4.2> EDN: NUPEGW

Pinchuk O.V. (2025) At the Boundary of Roles: Role Duality and Liminal Knowledge in Field Ethnography. *Interakciya. Intervyu. Interpretaciya*. [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 17. No. 4. P. 33–55. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.4.2> (In Russ.)

Форум: Опасности поля: перспектива исследователя // Антропологический форум. 2021. № 48. С. 11–88. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88> EDN: IDWMVQ

Forum: Dangerous Field: a Researcher's Perspective (2021) *Antropologicheskii forum* [Forum for Anthropology and Culture]. No. 48. P. 11–88. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88> (In Russ.)

Anspach R.R., Mizrahi N. (2006) The Field Worker's Fields: Ethics, Ethnography and Medical Sociology. *Sociology of Health & Illness*. Vol. 28. No. 6. P. 713–731. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2006.00538.x>

Atkinson P. (1992) *Understanding Ethnographic Texts*. Newbury Park: Sage. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781412986403>

Dilger H., Huschke S., Mattes D. (2014) Ethics, Epistemology, and Engagement: Encountering Values in Medical Anthropology. *Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness*. Vol. 34. No. 1. P. 1–10. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/01459740.2014.960565>

Emerson R.M., Fretz R.I., Shaw L.L. (2001) Participant Observation and Fieldnotes. In: P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland (eds.) *Handbook of Ethnography*. London: Sage. P. 352–368. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781848608337>

Emerson R.M., Fretz R.I., Shaw L.L. (2011) *Writing Ethnographic Fieldnotes*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press. DOI: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226206868.001.0001>

Prentice R. (2008) Knowledge, Skill, and the Inculcation of the Anthropologist: Reflections on Learning to Sew in the Field. *Anthropology of Work Review*. Vol. 29. No. 3. P. 54–61. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1548-1417.2008.00020.x>

Samudra J.K. (2008) Memory in Our Body: Thick Participation and the Translation of Kinesthetic Experience. *American Ethnologist*. Vol. 35. No. 4. P. 665–681. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2008.00104.x>

Samudra J.K. (2015) Attacked in the Field: Encountering a Street Gang while Studying Peace in Java. In: S. Finney, M. Conran, G. Pigliascio, F. Young (eds.) *Cultural Encounters: Ethnographic Updates from Asia and the Pacific Islands*. Honolulu: University of Hawaii Press. P. 18–23. DOI: <https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824847593.001.0001>

- Sanjek R. (ed.) (1990) *Fieldnotes: The Making of Anthropology*. Ithaca: Cornell University Press.
DOI: <https://doi.org/10.7591/9781501711954>
- Wacquant L., Vandebroek D. (2024) Carnal Concepts in Action: The Diagonal Sociology of Loïc Wacquant. *Thesis Eleven*. Vol. 180. No. 1. P. 111–143. DOI: <https://doi.org/10.1177/07255136221149782>
- Wacquant L. (2004) *Body & Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer*. Oxford: Oxford University Press.
- Wacquant L. (2015) For a Sociology of Flesh and Blood. *Qualitative Sociology*. Vol. 38. No. 1. P. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11133-014-9291-y>

Сведения об авторе:

Тукина Дарья Игоревна — младший научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН; магистр культурной антропологии, исследователь, Институт междисциплинарных медицинских исследований, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: dtukina@eu.spb.ru. **РИНЦ Author ID:** 1021793; **ORCID ID:** 0000-0002-3166-8308; **ResearcherID:** MBG-3996-2025.

Статья поступила в редакцию: 15.02.2026

Принята к публикации: 01.06.2026

БАК: 5.4.4

.....

Sterility Is Impossible: The Risks of Participant Observation in Medical Settings

DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.3

Daria I. Tukina

*Sociological Institute of RAS —
Branch of the FCTAS RAS;
Institute for Interdisciplinary Health Research,
European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia
E-mail: dtukina@eu.spb.ru*

The article examines how bodily experienced risk, in situations of initial immersion in medical practice, becomes a condition for the production of ethnographic knowledge. Drawing on participant observation conducted in the surgical ward of a municipal hospital in Western Siberia (2020–2023), where the author worked as a volunteer orderly, the article analyzes an early fieldnote through the lens of carnal sociology. At the center of the analysis is how the novice researcher's fear of infection through contact with blood, bodily hesitation while assisting in care, sensory selectivity in interactions with the patient's body, and the subsequent narrative self-explanation of these reactions render certain aspects of the ward's social order visible. Theoretically, the article builds on Loïc Wacquant's carnal sociology, the concept of embodied action, and Jaida Kim Samudra's approach to "thick participation", reworked here for the analysis of fieldnotes as a form of recording the kinesthetic, sensory, and narrative traces of bodily experience. It shows that fear of contact with blood does not merely accompany participant observation, but actively organizes the researcher's attention, reveals differences in the practical regimes through which danger is



perceived by the orderly, the nurse, and the novice researcher, and makes visible the professional boundaries of access, responsibility, and control within practices of dealing with the patient's body, wounds, and bodily waste. At the same time, the absence of fear and the automatisisation of action are analyzed as equally important sources of data, making it possible to trace the intrusion of previously acquired medical experience into ongoing field participation. The article argues that an early fieldnote can be understood not only as a description of a field episode, but also as material in which bodily entry into the field has already been transformed into analytically accessible data. Risk is thus conceptualized as a specific yet productive condition under which the otherwise hidden organization of medical practice becomes especially observable.

Keywords: participant observation; hospital ethnography; carnal sociology; fieldnotes

Author Bio:

Daria I. Tukina — Junior Researcher, Sociological Institute of RAS — Branch of the FCTAS RAS; MA in Cultural Anthropology, Researcher, Institute for Interdisciplinary Health Research, European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** dtukina@eu.spb.ru. **RSCI Author ID:** 1021793; **ORCID ID:** 0000-0002-3166-8308; **ResearcherID:** MBG-3996-2025.

Received: 15.02.2026

Accepted: 01.06.2026



DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.4

EDN: DXDGVL

Как изучать то, о чем не говорят? Методологические вызовы чувствительных исследований в социологии здоровья и медицины

Ссылка для цитирования:

Новкунская А. А., Богомягкова Е. С. Как изучать то, о чем не говорят? Методологические вызовы чувствительных исследований в социологии здоровья и медицины // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 3. С. 62–89. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.4>

EDN: DXDGVL

For citation:

Novkunskaia A. A., Bogomiagkova E. S. (2026) How to Study What Is Not Talked About? Methodological Challenges of Sensitive Research in Sociology of Health and Medicine. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 3. P. 62–89. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.4>

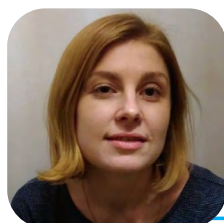


Новкунская Анастасия Андреевна

Европейский университет в Санкт-Петербурге,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: anovkunskaia@eu.spb.ru



Богомягкова Елена Сергеевна

СПбГУ; Социологический институт РАН —

филиал ФНИСЦ РАН,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: e.bogomyagkova@spbu.ru

В социологии чувствительность исследований нередко определяется как набор характеристик эмпирических полей или как этические вызовы, возникающие в процессе исследования как для его участников, так и для самих исследователей. Данная работа предлагает рассмотреть чувствительность поля как методологические сложности и исследовательские решения, направленные на их преодоление.

Статья опирается на описание двух исследовательских кейсов — проект по изучению нежелательных взаимодействий на рабочем месте в российском



здравоохранении и проект, посвященный возможностям молекулярно-генетического тестирования для семей, имеющих риск наследственных заболеваний и планирующих рождение детей. Оба исследования были реализованы с использованием смешанной методологии — онлайн-опросов и качественных полуструктурированных интервью. В обоих случаях изучаемые темы можно отнести к конвенционально сенситивным, поскольку они касаются интимного (в том числе репродуктивного и сексуального) опыта, опыта насилия и/или нежелательных взаимодействий, отчасти психологически травматичного. Однако мы фокусируемся не на самих способах определения сенситивности, а на том, как она сказывается на возможностях описывать такой опыт, обращаться к устоявшимся словам и категориям и, как следствие, на самой возможности изучать их привычными социологическими инструментами, связанными прежде всего с текстовыми данными. Статья не предлагает готовых инструкций по работе с подобными методологическими вызовами, но приглашает читателей к дискуссии: как изучать то, о чем не говорят?

Ключевые слова: сенситивные поля; методологические вызовы; социология медицины; языки описания; стратегия смешивания методов; преконцепционный генетический скрининг; харассмент на рабочем месте

Постановка проблемы: обсуждение разных аспектов сенситивности

Сенситивность исследования нередко используется как самообъясняющий маркер [Lee, 1993: 3] или определяется эмпирически — как набор тем, которые могут относиться к табу, интимным или компрометирующим [Dickson-Swift et al., 2008a: 2]. Некоторые трактовки сенситивности основываются на этической чувствительности к тому, что обсуждение того или иного опыта может приводить к последствиям, в первую очередь для участника исследования [Sieber, Stanley, 1988], но также и для самого исследователя [Lee, 1993; Dickson-Swift et al., 2008a: 2]. К таким последствиям могут относиться интрузивные риски, то есть обусловленные частными, сакральными или психологическими переживаниями, угрозы санкций (как правовых, так и символических, например, связанных со стигматизацией), а также политические угрозы [Lee, 1993: 4; Dickson-Swift et al., 2008a: 2]. Другой способ понимания сенситивности предлагает отталкиваться от того, что та или иная тема или опыт относятся к личным переживаниям, наполненным эмоциями, и такой подход отличает сенситивные темы от затруднительных (challenging), то есть связанных с вопросами и проблемами групп или систем, или сложных (difficult), которые по множеству причин заставляют самого исследователя чувствовать себя некомфортно [Silverio et al., 2022].

Все эти определения так или иначе исходят из того, что чувствительные темы или потенциальные риски от их обсуждения (как для изучаемых, так и для изучающих) составляют прежде всего этические вызовы для исследовательской

работы. В рамках данной статьи мы хотели бы обсудить те формы сенситивности исследования, которые определяются скорее методологически — как коммуникативные затруднения, возникающие в ходе рекрутинга информантов и сбора эмпирических данных.

Проблематика коммуникативных затруднений выступает предметом академической рефлексии чаще всего в контексте размышлений об умении правильно формулировать и задавать вопросы, навыках брать интервью или корректной операционализации исследовательских категорий. Однако вопросы, *что и как* мы изучаем через беседу с нашими информантами, не сводятся только к техническим, процедурным аспектам исследовательской практики, а носят более фундаментальный, методологически значимый характер. Современные социальные науки эксплицитно или имплицитно основываются на уверенности, что социальная реальность воплощается в языке и может быть изучена с его помощью.

Язык — это не простое отражение социальной реальности. Он играет ключевую роль в ее конструировании, структурируя социальные отношения и практики и будучи, в свою очередь, структурированным ими. А потому поименование чего-то — это не только риторический прием, но и придание этому чему-то смысла и существования [Ibarra, Kitsuse, 2003]. В результате поименованный, означенный феномен обретает свое место в языковой системе (сети знаков) и в социальной структуре. Различия в используемых участниками языковых ресурсах свидетельствуют и о различиях в социальных мирах, в которых они привычно действуют. Следовательно, стремясь постичь особенности опыта информантов, исследователь должен быть максимально чувствительным и внимательным к используемым ими категориям, риторическим и дискурсивным стратегиям, в том числе избегания каких-то тем или способов их описания.

Перевод языка науки и бюрократии на повседневный язык информантов, и, соответственно, обратный перевод в ходе анализа собранных данных является одной из значимых профессиональных компетенций социолога. В критической, рефлексивной социологии исследователь выступает в роли своеобразного посредника, проводника, выстраивая мосты между разными смысловыми мирами, давая голос уязвимым группам и подчас делая видимым травматичный уникальный опыт [Burawoy, 2005]. Это удастся сделать, когда такой опыт отрефлексирован и может быть выражен с помощью тех или иных средств. А как изучать то, о чем не говорят? Феномены, в отношении которых не сформированы дискурс и конвенциональные формы обозначения, возможно, отсутствует и сам опыт, либо он не осмыслен и не назван?

Необходимость достичь согласия по поводу изучаемых явлений, очевидная в кросс-культурных исследованиях [Lassila, Hyry-Beihammer, 2025], не всегда заметна в анализе повседневности. Однако и в этом случае аналитик и информант могут оказаться в различных смысловых универсумах и следовать разным типам рациональности. В результате общие рамки референции должны быть установлены в процессе исследовательской коммуникации. Необходим определенный консенсус, сходные, пусть и нечеткие, представления о предмете



разговора. Говоря языком феноменологии, каждая сторона должна быть уверена, что ее визави понимает обсуждаемый опыт примерно так же. Однако случаются ситуации, когда взаимопонимание оказывается проблематичным в силу разных причин. В результате под вопрос ставится сама возможность познания.

В рамках данной работы мы хотели бы внести вклад в дискуссию о том, как проявляется чувствительность в социологических исследованиях, через осмысление возникающих в процессе эмпирической работы коммуникативных поломок, методологических сложностей и последствий как для изучаемой группы, так и для самих исследователей [Dickson-Swift et al., 2008a: 9]. Статья представляет собой исследовательскую рефлексия двух медицинских социологов, работавших в разных эмпирических полях, но обнаруживших схожие проблемы в процессе исследования. В одном случае в фокусе внимания находились профессионалы-медики и их повседневные практики, в другом — пациенты и их опыт проживания наследственных заболеваний. Изначально оба проекта не были связаны между собой ни эмпирически, ни за счет пересечений исследовательских команд и/или их задач, ни тем, как складывалась исследовательская работа (подробное описание см. в двух следующих разделах). Тем интереснее и удивительнее было обнаружить схожие методологические затруднения в изначально почти случайном их обсуждении, но именно они и являются предметом исследовательской рефлексии данной статьи. И в процессе сопоставления двух кейсов, и в рамках данной статьи авторы не отталкиваются от теоретически и априорно поставленных задач, а приглашают читателей вместе проследовать по пути знакомства с двумя эмпирическими полями из области социологии медицины и осмысления возникших в них методологических проблем, сходство которых анализируется как один из способов определения чувствительности.

Кейс нежелательного взаимодействия / харассмента на рабочем месте

Идея проекта «Особенности профессиональных взаимодействий на рабочем месте в российском здравоохранении» (ИММИ ЕУСПб, 2021–2023) родилась в результате работы над другими исследованиями, в рамках которых мы сталкивались со множественными уязвимостями профессионалов, работающих в системе здравоохранения в России [Litvina et al., 2021]. Следуя феминистским принципам исследования, мы хотели, во-первых, повысить видимость тех практических и эмоционально нагруженных проблем, с которыми зачастую сталкиваются медицинские работники (как врачи, так и сотрудники сестринского звена), а во-вторых, дать голос тем социальным группам, у которых нередко ограничены ресурсы, чтобы делать свои проблемы более слышимыми и заметными в публичном пространстве [Здравомыслова, Темкина, 2014].

Уже на начальных этапах проекта мы понимали, какого рода практические проблемы хотели бы сделать более видимыми в рамках исследования.

Опираясь на предыдущие исследования, мы знали, как такого рода феномены описываются в других контекстах, какие категории чаще всего используются для их обозначения, и то, что сами способы определения харассмента могут быть разными в зависимости от опоры на правовые категории, социально-психологические критерии или общественное понимание [Quick, McFadyen, 2017]. Одновременно мы осознавали, что категории, валидные в одном социальном контексте, могут не только не восприниматься как релевантные опыту, но и оцениваться негативно (например, как культурно чуждые) в рамках другого контекста [Madison, Minichiello, 2000]. Кроме того, предыдущие исследования показывали, что даже в контекстах, где харассмент является устойчивой правовой категорией со сложившимися практиками правоприменения, участники исследования реже используют ее для обозначения собственного опыта, чем описывают ситуации со своим участием, попадающие под такое определение [McLaughlin et al., 2012].

Исследовательский проект прошел этическое согласование в Санкт-Петербургской ассоциации социологов. Логика нашего исследования изначально предполагала использование смешанной методологии: мы хотели показать, во-первых, что проблемы нежелательного взаимодействия на рабочем месте не единичны и не специфичны для какого-то конкретного организационного контекста, медицинской специальности или профиля помощи, а, во-вторых, то, как именно такие взаимодействия проживаются в индивидуальном опыте, какими смыслами участники исследования наделяют подобные ситуации и как их описывают. Таким образом, в дизайн исследования мы включили и количественный опрос, и качественные глубинные интервью.

В процессе рекрутинга мы пробовали обращаться к двум основным подходам для обозначения фокуса исследования [McLaughlin et al., 2012; León-Pérez et al., 2021]: использовали готовые категории, обозначающие изучаемые взаимодействия (харассмент или сексуализированное насилие), а также перечисляли разного рода ситуации, которые могли бы помочь потенциальным участникам исследования узнать, что эти проблемы релевантны их опыту.

Для начала мы хотели описать перспективу самой уязвимой профессиональной группы в исследуемом контексте российского здравоохранения, обратившись к опыту сотрудников сестринского звена. Как правило, медсестры/медбратья, акушерки, фельдшеры — это специалисты, имеющие среднее профессиональное образование, меньший объем профессиональной автономии и более низкий уровень социального признания/престижа [Бороздина, 2016]. Именно эта профессиональная группа нередко оказывается наиболее уязвимой для нежелательного воздействия со стороны пациентов и коллег, хотя распространенность таких ситуаций по разным оценкам крайне вариативна [Lu et al., 2020]. Отталкиваясь от этих условий, мы предполагали, что многие инструменты описания своего опыта (например, через медиавыступления, составление текстов и даже неформальное обсуждение в коллективе) у сотрудников сестринского звена будут более ограничены, чем у врачей или администрации медицинских организаций как более ресурсных социальных групп.



Для поиска участников среди сотрудниц сестринского звена мы изначально использовали максимально аккуратные формулировки, предварительно проконсультировавшись с коллегами из этого профессионального сообщества. Один из размещавшихся в соцсетях в качестве приглашения к участию текстов был таким:

«Дорогие коллеги, Ассоциация медсестер России совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге проводит исследование, посвященное формам и факторам нежелательной коммуникации в отношении сотрудников сестринского звена.

Если Вы готовы рассказать подробнее о Вашем профессиональном опыте и о том, как складывается коммуникация на рабочем месте, мы хотели бы пригласить Вас на интервью. Участие в исследовании происходит на условиях полной анонимности в любое удобное для Вас время и в любом удобном формате (как очно, так и дистанционно)».

В рамках первого этапа сбора глубинных полуструктурированных интервью (2021) у нас получилось собрать 20 интервью с сотрудниками сестринского звена, работающими в государственных стационарах Санкт-Петербурга, посвященных их профессиональному опыту и взаимоотношениям в коллективе. Практически во всех интервью с сотрудниками сестринского звена у нас не получилось затронуть тему сексуального харассмента или сексуализированного насилия. Поэтому на следующем этапе поиска информантов мы решили не ограничивать критерии включения определенной профессиональной группой и условиями работы, но более открыто артикулировать фокус исследования:

«Институт междисциплинарных медицинских исследований приглашает Вас принять участие в исследовательском проекте, посвященном взаимоотношениям в медицинских коллективах. Мы хотим изучить опыт людей, которые сталкивались с сексуализированными предложениями, высказываниями, приставаниями, преследованиями, нежелательными прикосновениями и другими ситуациями с сексуальным подтекстом во время работы или прохождения практики в медицинских организациях.

Мы будем признательны, если Вы согласитесь дать интервью и рассказать социологам о своем опыте (лично, по телефону или онлайн). Соблюдение этических принципов, анонимность и конфиденциальность участия в исследовании гарантированы».

В рамках второй волны сбора данных у нас получилось провести 23 глубинных полуструктурированных интервью с медицинскими сотрудниками, имеющими опыт столкновения именно с сексуальным харассментом (2022–2023). Мы проинтервьюировали 21 женщину и 2 мужчин в возрасте 21–36 лет. Из них у 17 участников исследования были разные вариации личного опыта

непосредственного столкновения с сексуальным харассментом, а б описывали ситуации, в которых они были свидетелями таких взаимодействий.

Но даже с таким артикулированным запросом в процессе интервьюирования (и затем на этапе анализа данных) мы столкнулись с новым методологическим вызовом — сомнениями наших информантов в том, что пережитый ими опыт или наблюдаемые ситуации нежелательного взаимодействия действительно попадают в фокус исследования и составляют проблему. Анализ качественных данных проходил в несколько этапов: на первом трое членов исследовательской команды провели пилотное кодирование по одному из интервью. На втором этапе вся исследовательская команда (пять человек) обсуждала получившийся набор исследовательских кодов и провела категоризацию по смысловым группам. Затем, в процессе кодировки еще нескольких интервью, сформировался итоговый набор кодов и их групп (дерево кодов), который использовался для кодировки всего массива данных. Для координации командной работы в процессе кодирования использовалась программа QualCoder. Получившееся дерево кодов, в частности, включало такие коды, как «не уверена, что харассмент», «казалось, не ясно, не уверена (что харассмент)» или «это не харассмент» (более подробно об этапе анализа данных см. далее).

Заключительный этап сбора эмпирических данных (проведение онлайн-опроса) ставил целью отразить масштаб изучаемой проблемы. Способ построения выборки по принципу удобства/доступности не предполагал репрезентативности собранных данных, однако позволил обнаружить, что проблемы харассмента характерны для разных профессиональных групп и организационных контекстов российского здравоохранения. При рекрутировании участников для онлайн-опроса мы опирались на предварительные результаты анализа качественных данных (то есть на понимание того, какие категории используются для описания изучаемого опыта) и следовали следующей стратегии: предварительно вводили ключевую категорию и уже со ссылкой на это разъяснение приглашали к участию в опросе. Данные количественного опроса не являются предметом анализа в рамках данной статьи, поскольку не раскрывают возможные затруднения в назывании и артикуляции своего опыта со стороны участников исследования. Тем не менее в рамках дискуссии о том, какие методологические решения принимают исследователи для преодоления таких коллизий, мы приведем базовые характеристики того, как проходил опрос и какие данные получилось собрать. Для рекрутинга участников опроса в телеграм-канале ИММИ был сначала опубликован первый пост:

«Сексуальный харассмент в медицинской среде: изучение поля. Весной 2021 года социологи ИММИ начали изучать взаимоотношения в медицинских коллективах. В фокусе исследователей были ситуации с сексуальным подтекстом на рабочем месте: сексуализированные предложения, высказывания, приставания, преследования, нежелательные прикосновения. Делимся новостями проекта.



1. Мы собрали качественные данные:

– 20 интервью с сотрудниками сестринского звена о нежелательных взаимодействиях на рабочем месте;

– 18 интервью с врачами о ситуациях сексуального харассмента.

Продолжаем изучать поле. Что научное сообщество знает о поведении, которое во многих исследованиях описывается термином „сексуальный харассмент“, как определяет и измеряет это явление?

Подробнее об этом — в материале Дарьи Никитиной¹.

Следующий пост с отсылкой на этот материал приглашал коллег, попадающих под критерии включения, пройти опрос:

«Сексуальный харассмент — только часть возможных проблем в коммуникации, поэтому мы смотрим на ситуацию шире и планируем изучать разные формы грубости и насилия. Для этого наша команда проводит опрос среди медицинских работников, чтобы получить более полную картину о нежелательных взаимодействиях, с которыми можно столкнуться на рабочем месте.

Если Вы медик, просим Вас принять участие в опросе. Это займет не более 20 минут. Соблюдение этических принципов, анонимность и конфиденциальность гарантированы».

В результате рекрутинга через разные социальные сети и профессиональные сообщества у нас получилось собрать 560 онлайн-анкет о взаимоотношениях с коллегами и пациентами на рабочем месте в российских медицинских организациях: 86,4% участников были женщины; 69,8% — врачи, 22,2% — сотрудники сестринского звена. Из всех участников исследования 43,4% отметили, что они лично сталкивались с нежелательным поведением коллег, и из тех, кто указал наличие такого опыта, треть респондентов (33,3%) отметили, что лично сталкивались с *«попытками склонить к нежелательным действиям сексуального характера (прикосновения, поцелуи, объятия, домогательства)»*.

Несмотря на разные способы обозначения фокуса исследования, способы артикуляции изучаемой проблемы и рекрутинга, некоторые участники испытывали затруднения с тем, чтобы подобрать категорию для обозначения своего опыта или классифицировать какой-то из эпизодов как харассмент. Далее приведем несколько фрагментов из интервью, которые отражают эти затруднения в идентификации/классификации ситуации или сомнения в том, что она соответствует целям исследования.

¹ Далее была дана ссылка на небольшую статью про разные подходы к определению и изучению сексуального харассмента:

Никитина Дарья. Сексуальный харассмент в медицинской среде: изучение поля // Telegra. Ph. 11 января 2023. URL: <https://telegra.ph/Seksualnyj-harassment-v-medicinskoj-srede-izuchenie-polya-01-11> (дата обращения: 08.03.2026).

Первая сложность идентификации заключалась в том, что информанты не готовы были признать какие-то формы нежелательного сексуализированного взаимодействия в качестве *настоящей* проблемы. Харассмент в данном случае использовался для обозначения только тех ситуаций, которые были не просто сопряжены с нежелательным вниманием или половым контактом на рабочем месте, но задевали принуждение:

«Поэтому многие вещи, которые кому-то могли бы показаться какими-то прям харассментами и т.д., мне такими не кажутся. Если там ко мне кто-то подойдет, меня обнимет, по плечу похлопает, пошутит надо мной — мне вообще пофиг, я поржу, и мне будет нормально. <...> Типа все какие-то действия сексуального характера, которые дошли до (выделяет) сексуального характера, да, которые вот действительно были прям ну вот уже какие-то. Был конкретно половой контакт, да, ну вот у людей на работе. <...> Это было обоюдное согласие. Вопрос в том, что в этом обоюдном согласии всегда как бы фигурировал взрослый женатый мужик и маленькая девочка-студентка. <...> Вот, то есть это, то есть, ну, сложно назвать вот, ну... Все были согласны, все были не против, все были за, но все были преисполнены романтическими чувствами. <...> Ну да, потом им будет грустно, но это не принуждение. Это типа сложно назвать каким-то харассментом. Это, скорее, вот действительно, банальная житейская глупость» (Ксюша, 25 лет, ординатор).

Интересно, что в цитате выше информантка упоминает как минимум возрастную и статусную асимметрию сексуализированных взаимодействий на рабочем месте («взрослый женатый мужик и маленькая девочка-студентка»), которые в исследованиях определяются как одна из ключевых характеристик харассмента [McLaughlin et al., 2012; Quick, McFadyen, 2017; Burn, 2019]. Далее в интервью та же информантка продолжает свои рассуждения о том, что именно она готова признать в качестве проблемы в контексте сексуальных отношений на рабочем месте, фокусируясь не на неравенстве позиций участников такого взаимодействия, а на нечестности одной из сторон, которая затем может привести к серьезным психологическим последствиям для другой:

«Ну и второй вариант, да, это если контакт был желанный, вот как я описывала, да, в случае вот девчонок, которые правда ведутся на то, что им льют в уши. <...> А в таком случае проблемы могут возникнуть, да, и как, и когда они все-таки поймут, что им (выделяет) ссут в уши. (Смеется) <...> То есть когда они поймут, что на самом-то деле от жены он никуда не уйдет. Вот. И что с ней он развлекается просто потому, что ему скучно на дежурствах, а она молодая, красивая, свежая девочка. Вот. И вот в этот момент понимания действительности, мне кажется, может случиться прям коллапс. Потому что вот один



такой кейс был, ну, вот у моей там девчонки из параллельной группы. Когда тоже там (иронично): „Уйду из семьи там, детей с тобой заведем, вся фигня“. И так год, полтора, два. Она уже такая: „Ну когда ж ты уйдешь?“ А он такой: „Ну вот никогда!“ То есть... И у нее прям случилась полная лютая депрессия, там прям год психотерапии, ну, по стандарту. Ну как... Как расставание, обман — стандартная какая-то вещь» (Ксюша, 25 лет, ординатор).

Второй вид затруднений в определении харассмента заключался в том, что сама пострадавшая не сразу могла опознать какие-то действия и жесты в свой адрес как симптомы нежелательного сексуализированного внимания со стороны коллеги:

«И сначала... ну мне как-то чуждо, я не могла понять, в чем дело, как-то даже не реагировала, я думала, ну, даже не обращала внимание, а потом, уже вот когда были вдвоем и он меня прям так за руку взял, и так вот, я поняла, что это было вообще не случайно. <...> Да, ну там, это просто, это не точно было как-то видно» (Марина, 25 лет, ортопед).

Еще в нескольких интервью встречались похожие затруднения: какой-то опыт уже только ретроспективно оценивался как нежелательный. В каких-то случаях само приглашение к участию в исследовании упоминалось как фактор, позволивший провести эту категоризацию. Ситуация интервью становилась на время тем доверительным пространством, в котором можно было и описать опыт, и попробовать его назвать. Тем не менее участники исследования делились сомнениями в том, что в рамках их профессионального сообщества артикулированные и описанные проблемы могут пониматься и определяться созвучным им образом:

«(вздыхает) Мне кажется, многие не воспринимают это так, как восприняла я. То есть многие об этом могут и не говорить, потому что считают это нормальным, учитывая, что достаточно большое количество людей в этом отделении спокойно там как бы... Ну, реагировали на проявления вот этого... Не знаю, спермотоксикозом назвать, я даже не знаю, что это такое. Ну то есть многие женщины, это причем женщины, женщины в возрасте. Ну, то есть это 40+ (лет). Они хихикали, смеялись, позволяли себе вот это вот... » (Анастасия, 24 года, ординатор).

Таким образом, кейс позволяет описать несколько видов затруднений в артикуляции и категоризации сенситивного опыта: распознавания того, что какие-то действия являются нежелательными и составляют проблему, названия этой проблемы и возможности использовать эту категорию как понятную и разделяемую в рамках своего сообщества.

Кейс «Социолог в поле генетики»

Данные, о которых пойдет речь в этом разделе, были собраны в рамках проекта (2022 — н. в.), реализуемого на базе ФГБНУ НИИ АГиР им. Д. О. Отта при поддержке Благотворительного фонда «Острова», цель которого состояла в обеспечении возможностей молекулярно-генетического тестирования для семей, планирующих рождение детей². Целевая группа проекта включает людей с заболеваниями (муковисцидозом, фенилкетонурией, спинальной мышечной атрофией 5q (гены *CFTR/PAH/SMN1*)), их супругов/партнеров и родственников (если заболевание есть у родителя, братьев и сестер, племянников и племянниц), находящихся на этапе планирования беременности с целью определения возможных рисков заболевания у потомства. Проект был одобрен локальным этическим комитетом ФГБНУ НИИ АГиР им. Д. О. Отта.

Помимо основного медицинского блока проект включает социологическое сопровождение, направленное на изучение востребованности такого генетического тестирования среди уязвимых групп и населения России в целом. Кроме того, нас интересовали и осведомленность участников о таких возможностях, и имеющийся опыт обращения к потенциалу генетики для решения медицинских и репродуктивных проблем, и основания совершения того или иного терапевтического выбора. Социологические задачи, используемые методы и ожидаемые результаты многократно обсуждались со специалистами-генетиками и с заказчиками исследования в лице руководства фонда. Несмотря на ярко выраженный прикладной характер проекта и артикулированный запрос на эмпирические данные, нам как социологам был дан почти полный карт-бланш в формулировании собственных исследовательских вопросов.

Здесь стоит подробнее остановиться на том, с чем нам пришлось иметь дело. Попад в поле генетики, мы столкнулись с новым для себя миром практик, смыслов, значений. Во-первых, нам потребовалось осознать вариативность механизмов наследования генетических заболеваний и разную степень детерминированности их передачи. Говоря языком обывателя, не все генетические заболевания одинаковы, и проект направлен на работу только с определенным классом — моногенными болезнями, наследуемыми по аутосомно-рецессивному типу. Это означает, что ребенок с заболеванием может родиться у пары, где оба партнера здоровы, но при этом являются скрытыми носителями мутаций в одном и том же гене. В этом случае вероятность рождения ребенка с недугом составляет 25%, в 25% случаев ребенок будет здоров, а в 50% случаев станет бессимптомным носителем. Такое носительство никак не проявляется на уровне физиологии и выявить его можно только с помощью генетического тестирования. Каждый человек является скрытым носителем подобных генетических поломок.

² Научный проект с Благотворительным фондом «ОСТРОВА»: бесплатная диагностическая программа молекулярно-генетического тестирования для семей, планирующих рождение детей // Медгенетика.рф. URL: <https://xn-80afcdcaqvlo0d.xn--p1ai/ostrova> (дата обращения: 08.03.2026).



Во-вторых, для обозначения генетического тестирования, выявляющего скрытое носительство генетических мутаций у будущих родителей на этапе планирования беременности с целью оценки вероятности рождения ребенка с особенностями здоровья, используется термин «преконцепционный генетический скрининг» [Баранов, Кузнецова, 2015]. «Преко́нцепционный» означает «до концепции», то есть до зачатия. Этот термин нов для российской медицинской практики, только входит в оборот специалистов и неизвестен в публичном пространстве. Новым он стал и для команды социологов. Несмотря на то, что в последнее время этот вид ДНК-диагностики активно обсуждается в экспертном сообществе, единого мнения о его необходимости, целесообразности, границах и перспективах применения не сложилось. Недостаток согласия среди профессионалов подтверждает и отсутствие единой терминологии для обозначения рассматриваемой практики. В литературе можно встретить две разные аббревиатуры: ПКС (преконцепционный генетический скрининг) и ПГС (преконцепционное генетическое тестирование)³. Некоторые специалисты проводят принципиальные различия между методами тестирования и скрининга. Более того, практика ПКС мало распространена. На сегодняшний день такой скрининг не включен в программу ОМС и предоставляется преимущественно на платной основе по инициативе будущих родителей. В последнее время в крупных городах на базе специализированных медицинских учреждений изредка реализуются локальные проекты, оказывающие такие услуги бесплатно.

В-третьих, специфическая генетическая терминология (мутации, риски, носительство, скрытое носительство) не всегда вызывает позитивные коннотации в сознании обывателей, что отмечается и некоторыми аналитиками [Долгов, 2024]. Такая точка зрения встречалась в оценках экспертов в нашем исследовании:

«У нас даже больше, если посмотреть на средства массовой информации, еще что-то, да, какая аура у генетики. Некоторое время назад был ГМО, да. Это же... Генетика — это плохо. Генетика — это плохо. Потом редактировать геномы научились. Какая у нас была новость номер один? Что китайский ученый отредактировал геном двух младенцев. Генетика — это плохо...» (генетик-исследователь);

«...что „я — носитель мутации, я мутант“. Чувство вины. Вот. „А я такой, значит, недостаточный, а я такой несовершенный“» (основатель благотворительного фонда).

Таким образом, несмотря на бурное развитие генетики и генетических технологий, сегодня эта область медицинской практики характеризуется значительной степенью информационной неопределенности, смысловой разреженностью и этической чувствительностью, что делает уязвимыми

³ В статье мы будем использовать сокращение ПКС.

не только врачей и пациентов, но и исследователей. Такая неоднозначность привела к тому, что уже на этапе обсуждения цели и задач социологической части проекта мы столкнулись с определенной терминологической и смысловой путаницей. Как изучать то, что еще не имеет устоявшегося обозначения, не укоренено в опыте? Каким образом могут быть использованы эмоционально нагруженные категории носительства, риска, мутации, генетического статуса? Как говорить о рисках и прояснять различия между рисками носительства и рисками наследования? Будет ли это понятно участникам исследования и до какой степени мы можем уточнять, что именно мы имели в виду? Каким образом наши интерпретации могут исказить данные и повлиять на их надежность и достоверность? Уверены ли мы, что обладаем одинаковым вокабуляром описания с участниками исследования? То, что очевидно и понятно медикам, не так очевидно и понятно социологам и обывателям.

Одним из краеугольных камней стало обсуждение с заказчиками сущности феномена ПКС: где его границы и что именно будет нас интересовать в рамках исследования. Сводится ли скрининг только к процедуре получения пациентом знания о своем (не)носительстве мутаций, то есть важен лишь сам факт прохождения диагностики? Или он включает дальнейший репродуктивный выбор, зависимый от полученных результатов? Здесь стоит отметить, что важный аргумент внедрения ПКС в широкую медицинскую практику состоит в том, что выявленное носительство станет основанием для будущих родителей совершать информированный выбор способов зачатия (например, обращаться к вспомогательным репродуктивным технологиям, использовать донорский материал) или подготовиться к рождению ребенка с любым состоянием здоровья. Для социальной политики наибольший интерес представляет решение в пользу предотвращения рождения ребенка с недугом, а потому оно нередко автоматически приравнивается к тестированию. В ходе неоднократных дискуссий было достигнуто понимание, что это совершенно разные точки бифуркации: проходить или нет диагностику; использовать или нет (и каким образом) полученную информацию. В итоге мы пришли к консенсусу, что ПКС подразумевает только тестирование, то есть получение информации о (не)носительстве мутаций.

В ходе исследования были собраны следующие данные:

1. Экспертные интервью (период: апрель 2023 — март 2025 года), N = 13 (врачи-генетики, специалисты по биоэтике, медицинский журналист, основатели благотворительных фондов, генетики-исследователи, врач-репродуктолог, юрист и др.), офлайн- и дистанционный формат.
2. Интервью с членами наследственно отягощенных семей, приглашенных для участия в проекте (период: апрель 2023 года — н. в.), N = 36, дистанционный формат. В 13 случаях интервью состоялись с парами.
3. Интервью с семьями, имеющими детей/родственников с орфанными заболеваниями (период: июль 2023 — апрель 2025 года), N = 32, дистанционный формат.



4. Онлайн-опрос жителей России 18–50 лет (период: февраль 2024 года), N = 1653, квота: пол, возраст, федеральный округ. В выборку попали 49,4% мужчин и 50,6% женщин; средний возраст опрошенных составил 35,6 лет (медиана 36 лет).

В статье мы не будем касаться экспертных интервью, хотя и в этом случае поле продемонстрировало свою сложность и неопределенность. Мы фокусируемся на исследовательских материалах интервью с семьями, столкнувшимися с генетическими заболеваниями, и результатах онлайн-опроса. Несмотря на то, что очередность этапов не была линейной, для удобства изложения мы будем упоминать их как последовательные стадии исследовательского процесса.

На первом этапе мы провели 36 интервью с членами наследственно отягощенных семей, приглашенных для участия в проекте. В этом случае мы не сталкивались с проблемой рекрутинга, информанты связывались с социологами сами после консультации с врачом-генетиком и тестирования. Однако обратим внимание, что в сформулированном медицинскими профессионалами приглашении термин ПКС не используется; вместо него участникам предлагается пройти молекулярно-генетическое тестирование. Интервью проводились на добровольной основе, и мы понимаем, что не все участники оказались готовы на разговор с исследователями. Этот этап продолжается до сих пор, потому как скорость набора пациентов в проект оказалась ниже ожидаемой.

Помимо этого, мы провели 32 интервью с семьями, имеющими родственников с орфанными заболеваниями. Рекрутинг осуществлялся среди клиентов фонда: руководством было направлено приглашение, а дальше мы отбирали информантов среди выразивших желание принять участие в исследовании. Любопытно, что выборка вышла за пределы клиентской базы благодаря социальным сетям и сообществам пациентов, и мы получили отклик не только от клиентов фонда. В этом случае, как правило, интервью состоялись с матерями детей, имеющих генетические заболевания. Безусловно, мы понимаем, что могли столкнуться с так называемой ошибкой выжившего: мы получили информацию от тех пациентов, кто оказался готов ею поделиться. Этап качественных интервью не завершен, данные находятся в процессе обработки, обобщения и анализа, окончательные итоги еще не подведены, а потому здесь мы поделимся только первыми догадками.

Несмотря на глубокое погружение информантов в изучаемую проблематику, обретение общего понимания предмета разговора и общего языка было достижением взаимодействующих сторон. Нередко, особенно в начале исследования, аутсайдерами становились социологи, постигая неожиданные траектории и конфигурации опыта пациентов. Для части информантов открытый разговор о своем недуге, произношение его названия оказывались непростой задачей, а разговор о здоровье, репродуктивных выборах и планах становился вызовом для аналитиков. Многие участники в том или ином варианте уже проходили генетическое тестирование. Носители заболеваний в подавляющем большинстве случаев знали свои генетические мутации, а в проекте (не)носительство мутации проверялось у партнера. Для

демонстрации неопределенности поля мы обратимся лишь к одному сюжету в полученных нарративах.

Мы обнаружили, что активно продвигаемый медиками и используемый в профессиональном сообществе термин ПКС неизвестен участникам несмотря на то, что именно этот вид тестирования они проходят в проекте, а кто-то уже имеет подобный опыт. С одной стороны, этот факт логичен и ожидаем, поскольку мы понимаем, что язык официальных дискурсов не используется для осмысления повседневных практик, что требует от аналитиков работы по операционализации исследовательских категорий. С другой стороны, сегодня пациенты, особенно носители хронических заболеваний, отстаивают свое право на экспертность, а нередко, интегрируя знания, полученные из разных источников и от разных специалистов, выигрывают в конкуренции с медицинскими профессионалами. Они активно осваивают и используют медицинскую и бюрократическую терминологию, что мы видим и в наших интервью. Однако область генетики пока остается слепым пятном и только начинает «оживаться». Приведем некоторые примеры.

Интервьюер: А могу я спросить Вас, как Вы понимаете само понятие преконцепционного скрининга, что это такое? Уточните, что это для Вас означает.

Респондент: (Пауза) Это, наверное, так вот не смогу я ответить, потому что надо мне, наверное, подсказывать, как вот это (ж., 34 года).

Интервьюер: Но все равно поговорим про преконцепционный скрининг. Хорошо?

Женщина-респондент: (Перебивает) А что это такое? Как вы его называете? Я, если честно, первый раз такой термин слышу.

И.: Да? А вам генетики... А как генетики называли вот это тестирование, которое Вы проходите?

Женщина-респондент: Эээ...

Мужчина-респондент: Сказали сдать кровь — и там проверка вот на эти вот патологии, что ли, как правильно сказать (ж., 32 года, м., 28 лет).

Интервьюер: Понятие «преконцепционный скрининг» Вы слышали? Говорили Вам? Может быть, врач-генетик?

Респондент: Ну, имеете в виду на всех диагностиках?

И.: Как сказать? Мы интересуемся, насколько люди знают/не знают.

Р.: Скрининг я знаю (посмеивается) (ж., 37 лет).

Подчеркнем, что мы не ставили целью проверку или оценку осведомленности наших информантов. Напротив, поскольку пациентский опыт — уникальный и очень разнообразный — нередко исключен из поля зрения медицинских профессионалов, нам важно было понять и показать жизненный мир пациентов, имеющих наследственные генетические заболевания: их



способы конструирования идентичности, генетического статуса и генетических рисков, ожидания, сомнения и страхи, связанные с тестированием, совершаемые репродуктивные выборы. Поэтому в начале разговора мы стремились нащупать общий язык, общее понимание, о чем именно пойдет речь в интервью.

Интервьюер: Скажите, пожалуйста, Вы знаете про свои генетические риски развития различных заболеваний? Может быть, про свой статус носительства наследственных заболеваний?

Респондент: Наверное, нет. Я правильно или нет понимаю: это то, что вот такой ген [у меня есть], это может быть еще диабет, вот это? (ж., 32 года).

Описывая опыт ДНК-диагностики, участники использовали такие категории, как «программа», «сдали анализы», «сдали кровь», «прошли тестирование», «сдавать генетику». В свою очередь, в ходе беседы мы стремились подстроиться под язык информантов. На первый взгляд может показаться, что отсутствие единой терминологии не является большой проблемой, поскольку так или иначе взаимопонимание в большинстве случаев было достигнуто. Но вопрос не столько в незнакомой терминологии, сколько в смысловой неопределенности, какие практики и каким образом обозначаются, в возможностях проводить между ними различия. Более того, это может свидетельствовать о разрывах в дискурсе, о невидимости опыта пациента для исследователей и медицинских профессионалов. В результате мы столкнулись с необходимостью давать некоторые пояснения, что именно подразумевает вопрос, хотя не уверены, что это была верная тактика и мы не оказали влияния на дальнейшие ответы и на (пере)осмысление участниками своего опыта.

Сегодня термин «скрининг» встречается в публичном пространстве и чаще всего ассоциируется с диагностическими процедурами, реализуемыми во время и после беременности. На слуху пренатальный, неонатальный и преимплантационный (ПГД) скрининги. Эти коннотации встречались и в интервью:

Интервьюер: Вы были бы готовы самостоятельно оплатить эту процедуру [преконцепционный скрининг]?

Респондент: (Пауза) Ну, вот это та причина, по которой мы в свое время, когда нам навязывали ПГД, мы от него отказались.

И.: Поняла Вас.

Р.: А, подождите, мы про ПГД говорим или про...? (ж., 37 лет)

И.: Мы говорим про вот этот скрининг, генетическое тестирование, результаты которого Вы ждете.

В то же время термин «преконцепционный», являющийся фактически калькой английского слова *preconception*, не вызывает у информантов никаких отчетливых ассоциаций, не отсылает к опыту.

Интервьюер: *Я правильно понимаю, что Вы участвуете в проекте, который связан с преконцепционным скринингом?*

Респондент: *Да, ну единственное, что первое слово я не очень понимаю (ж., 38 лет).*

Незнакомо это понятие оказалось и семьям, столкнувшимся с генетическими заболеваниями. В этом случае хочется обратить внимание на следующее методологическое и практическое затруднение. В подавляющем большинстве случаев родители пациента знают по результатам тестирования или догадываются о своем носительстве мутаций. Можно ли назвать этот опыт преконцепционным скринингом, даже если рождение ребенка больше не планируется? В медицинском дискурсе встречается понятие «скрининг на носительство». Это одно и то же или разные процедуры? Каким образом каждый скрининг формирует опыт пациентов, каким образом его результаты могут быть использованы и кому могут быть полезны? Как говорить о ПКС с информантами, уже имеющими детей с недугом? Является ли действительная подготовка к беременности ключевой и единственной причиной обращения к ПКС? В каких еще случаях знание о (не)носительстве мутаций может пригодиться? Подобная смысловая неопределенность послужила триггером для авторефлексии одной из исследовательниц. Можно ли информацию о носительстве мутации, полученную ею случайно несколько лет назад в результате неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ), квалифицировать как вариант скрининга? Это вопросы не столько терминологические, сколько практические и методологические. Например, единое понимание своего опыта и генетических методов может становиться основанием пациентской солидарности. Помимо этого, в случае необходимости дальнейших исследований социолог может столкнуться с проблемой рекрутинга: каким образом формулировать приглашение для участников, чтобы на него откликнулись информанты с искомым опытом?

Однако с наибольшими методологическими сложностями мы столкнулись на втором этапе исследования при проведении массового онлайн-опроса (подробнее об основных результатах см. [Богомягкова и др., 2025]). Поскольку интенция популяризации ПКС исходит, прежде всего, от профессионального сообщества, а не является реакцией на общественный запрос, то есть потребность формируется сверху, мы ожидали, что вопросы, связанные с генетикой, для большинства респондентов окажутся за пределами не только опыта, но и представлений, и достичь взаимопонимания окажется трудно. Одной из задач проекта являлось выявление информированности населения о возможностях генетического тестирования и потенциальной готовности вовлекаться в ПКС. Если в режиме полуструктурированных интервью имеется возможность прояснять, уточнять, задавать дополнительные вопросы, создавать общие рамки референции в ходе живой беседы, то в онлайн-опросе исследователь лишен такого преимущества и вынужден полагаться на точность формулировки вопросов. Задача, как и что именно спрашивать, приобрела



на этом этапе еще большую остроту, а создание анкеты потребовало от команды немалых усилий.

Мы не будем подробно останавливаться на всех сложностях научного поиска (было разработано и обсуждено 11 вариантов анкеты, мы опирались на категории, полученные в ходе сбора качественных данных), кратко опишем его итог. Во-первых, мы отказались от использования термина ПКС в анкете, особенно учитывая опыт интервью. Мы постарались заменить его синонимичным выражением: *«Сегодня, обращаясь к генетическому тестированию на этапе планирования беременности, можно предсказывать вероятность возникновения наследственных заболеваний у будущих детей. Слышали ли Вы о таких возможностях?»*. В качестве одного из вариантов ответа мы предусмотрели и такой: *«да, проходил(а) такое тестирование»*, — чтобы оценить количество респондентов, имеющих опыт ПКС. Мы также интересовались, готовы ли опрашиваемые пройти такое тестирование в будущем и уточняли причины отказа. Во-вторых, мы решили задать несколько прямых вопросов, касающихся опыта генетического тестирования в целом, знания наследственных заболеваний и способов их передачи. Например, мы спрашивали: *«Вы когда-нибудь проходили генетическое тестирование?»*

Значительные затруднения вызвала необходимость выяснить установки в отношении ПКС и потенциальное поведение, то есть спросить о том, о чем респонденты могли не знать и даже не слышать либо иметь противоречивые представления. Прямые вопросы и вопросы-подсказки в этом случае были малоэффективны и, согласно взглядам П. Бурдые [Бурдые, 2005], скорее конструировали общественное мнение, нежели фиксировали его. В результате мы обратились к методу виньеток [Kirmizi, 2024; Spalding, Phillips, 2007]. Виньетки — это краткие рассказы или сценарии, которые описывают гипотетические характеристики и ситуации, на которые респондент должен выразить свою реакцию. Поскольку кейсы являются гипотетическими, то с большей вероятностью возможно обойти острые углы и изучать сенситивные темы, каковыми являются готовность вовлекаться в прекоцепционный скрининг и готовность совершать тот или иной репродуктивный выбор в случае знания своего носительства. Всего было сформулировано 8 вопросов-винеток. В половине случаев шкала ответов была перевернута в обратном направлении. Респондентам предлагалось выбрать один вариант из предложенных как совет паре, чья ситуация описывалась в виньетке. Приведем некоторые примеры.

Пример 1

«Геннадий и Виктория здоровы и планируют беременность. С вероятностью 2% каждый человек может являться носителем генетических мутаций. В случае обнаружения мутаций в одном и том же гене у обоих партнеров с определенной вероятностью их будущий ребенок может родиться с тяжелым наследственным заболеванием. Чтобы узнать, если ли у них такие риски, необходимо пройти генетическое тестирование, однако оно не входит в программу ОМС. Средняя стоимость процедуры для

каждого из партнеров может составлять 35–45 тыс. руб. Тестирование является добровольным. Как паре следует поступить?

1. Пройти тестирование, чтобы узнать о своем возможном носительстве мутаций.
2. Отказаться от прохождения тестирования.
3. З/о».

Пример 2

«Павел и Елена здоровы и планируют беременность. Пара знает, что один из партнеров является носителем генетической мутации. В случае обнаружения мутации в этом же гене у второго партнера с вероятностью 25% их будущий ребенок может родиться с тяжелым наследственным заболеванием. Чтобы узнать, является ли второй партнер носителем такой мутации, ему необходимо пройти генетическое тестирование, которое входит в программу ОМС. Тестирование является добровольным. Как паре следует поступить?

1. Второму партнеру пройти тестирование, чтобы узнать о своем возможном носительстве мутаций и паре принять решение о способе зачатия.
2. Отказаться от прохождения тестирования вторым партнером, информация о наличии мутаций не является необходимой для принятия решений о беременности и рождении ребенка.
3. Использовать для зачатия здоровый донорский материал.
4. З/о».

Пример 3

«Анна и Матвей здоровы и планируют беременность. Они знают, что оба являются носителями генетической мутации в одном и том же гене. Это означает, что с вероятностью 25% их ребенок может родиться с тяжелым и неизлечимым заболеванием. Что им следует сделать?

1. Использовать вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО) и с помощью генетического тестирования отобрать здоровые эмбрионы.
2. Отказаться от рождения детей.
3. Планировать беременность естественным образом, сделать пренатальную диагностику на 10–12 неделях беременности и прервать ее, если ребенок окажется больным.
4. Планировать беременность естественным образом, сделать пренатальную диагностику на 10–12 неделях беременности, чтобы узнать, болен или здоров ребенок, и подготовиться к его рождению.
5. Не нужно предпринимать никаких специальных действий, беременность и рождение ребенка должны быть естественными.
6. Использовать для зачатия донорский материал.
7. З/о».



Мы использовали виньетки не с целью предупреждения социально желательных или неискренних ответов. Поскольку общественный дискурс и социальная норма по рассматриваемой теме не сформировались, говорить об однозначно одобряемых выборах практически невозможно. Виньетки позволили нам описать случаи, избегая дополнительных пояснений и уточнений. Мы обсуждали содержание анкеты с исполнителями онлайн-опроса — сотрудниками Агентства социальной информации, и они предложили сопроводить виньетки рисунками, что, по их мнению, должно было помочь участникам сориентироваться в содержании вопроса. Однако после обсуждения мы решили отказаться от этой идеи, чтобы не усложнять еще больше восприятие и так непростой для респондентов информации. Мы понимаем, что виньетки выявили не возможное поведение респондента, а социальные установки в отношении ПКС, представления о нормальном и приемлемом поведении в ситуации репродуктивного выбора.

Несмотря на то, что нам удалось собрать интересные и в некотором смысле уникальные данные, уверенности в том, что мы действительно получили правдоподобную картину, у нас нет. Мы столкнулись с противоречиями в ответах респондентов на разные вопросы. Например, среди тех, кто указал, что проходил ПКС, лишь треть отметила, что имеют опыт генетического тестирования, а чуть более половины полагают, что такого опыта у них нет. Такая ситуация в действительности невозможна, поскольку ПКС — это вариант ДНК-диагностики. Для нас это означает, что респонденты либо нечетко представляли, о чем именно шла речь в исследовании, либо не смогли с уверенностью описать свой опыт: какое именно тестирование и с какой целью они проходили. Это также заставляет нас задуматься, в каких категориях участники определяют свой опыт; в каких случаях тестирование, которое они прошли, интерпретируется как имеющее отношение к генетике, и какого рода информация воспринимается как генетическая.

Среди ответов на открытый вопрос о том, какие генетические заболевания известны участникам, лидирующие позиции по частоте упоминаний заняли сахарный диабет (20,9%) и онкологические заболевания (13,3%), то есть заболевания, которые являются мультифакторными; наследственность хоть и может играть роль в их возникновении, но является далеко не единственной детерминантой. Напротив, болезни, имеющие исключительно генетические причины, в отношении которых ПКС наиболее эффективен, недостаточно известны россиянам. Муковисцидоз был назван только 2,4% респондентов, фенилкетонурия — 0,9%, СМА — 0,5%, галактоземия — 0,2%. Более того, опрошенные недостаточно осведомлены о способах наследования генетических заболеваний, а наличие людей с такими недугами среди близкого окружения респондента существенным образом не связано с информированностью и готовностью проходить ПКС. Эти результаты свидетельствуют об ограничениях в понимании участниками источников потенциального риска для собственного здоровья и здоровья детей, а также о том, что, отвечая на вопросы о ПКС, они могли понимать под процедурой все что угодно и иметь в виду самые разные заболевания.

Определенные затруднения возникают и при интерпретации результатов виньеток. Несмотря на то, что мы постарались максимально аккуратно и конкретно описать возможные ситуации, они содержат не всю информацию, значимую для принятия решений в каждом случае. Например, в примерах 1 и 2 отсутствуют сведения о вероятности совпадения мутаций в одном гене в паре, которая составляет 0,0004, а также о заболеваниях, для которых тестирование оправдано. Мы варьировали факторы необходимости оплаты процедуры скрининга, тяжести заболевания, наличия мутаций у одного из партнеров, однако в реальности детерминантами могут стать и доступность тестирования, и предыдущий репродуктивный опыт. Кроме того, важно, что знание о (не)носителстве релевантно только для пары, для отдельного человека оно может не иметь большой ценности. К сожалению, столь детальное описание недостижимо в формате анкеты.

Мы понимаем, что изучение вероятного, а не реального поведения является делом неблагодарным. Однако выявление и описание социальных установок и представлений в отношении новых практик может быть полезно при планировании программ и проектов, социальном реформировании. Прежде чем инициировать социальные изменения, критически важно понимать действительный контекст, почву, на которой должны прижиться инновации.

Мы обозначили лишь часть аспектов, вызывающих у нас как социологов сомнения в том, что мы с участниками обладаем единым языком описания и интерпретации исследуемых практик. Однако проблема не только и не столько в точности инструментов измерения, сколько в согласии участников и исследователей в отношении природы изучаемой реальности. Мы видим, что сегодня поле генетики обладает существенной смысловой неопределенностью, официальный дискурс пока не проник в повседневность пациента и не используется для осмысления личного опыта и состояний. В то же время дискурс, конструируемый спонтанно снизу, отличается размытостью представлений и ожиданий. Это не только влечет сбои в медицинской коммуникации и самоидентификации пациентов [Широков, 2019; Курленкова, 2019], но и приводит к методологическим трудностям в ходе исследования. Поле генетики сенситивно не только в силу особенностей темы, (само)стигматизации и дискриминации носителей орфанных заболеваний, концентрации не имеющих единого правильного ответа моральных дилемм, но и по причине отсутствия согласия и конвенционального языка в отношении изучаемых практик и сущностей. Даже информантам, казалось бы, глубоко погруженным в проблематику, было не так просто называть и интерпретировать свой опыт. В результате и участникам, и социологам приходилось справляться с перманентной неопределенностью.

На первый взгляд может показаться, что возникшие сложности — проявление проблемы операционализации понятий и умения правильно задавать вопросы. Однако перевод с официального языка на язык обывателей возможен, когда в обоих случаях сложились определенные, пусть имплицитные и не рефлекслируемые конвенции в отношении изучаемых феноменов. В нашем случае такой перевод оказался затруднен, поскольку ни медицинский



и бюрократический дискурсы, ни повседневные способы обозначения и говорения о генетических реальностях еще не сложились. На данный момент в большей степени отрефлексированы результаты онлайн-опроса, итоги интервью еще только предстоит осмыслить.

Дискуссия: методологические вызовы, связанные с (не)возможностью обозначить и назвать изучаемую проблему

В рамках данной статьи мы сосредоточились на обсуждении чувствительности не как характеристики какого-то конкретного эмпирического поля и даже не как потенциальных эффектов для изучаемой группы и самих исследователей [Форум..., 2021; Dickson-Swift, 2008b], но как методологических вызовов, которые создает работа в чувствительных полях. Основным фокусом нашей исследовательской рефлексии стали разного рода затруднения участников в категоризации/назывании своего опыта, (не)согласии соотносить его с предложенными исследователями категориями и разными формами умолчания.

Проблематика молчания — невысказанного, невыраженного и невыразимого — не является принципиально новой для социологических исследований [Cornejo et al., 2019; Poland, Pederson, 1998]. Исследователи не только обращают внимание на то, как часто в процессе эмпирической работы возникают разного рода коммуникативные поломки, но и предлагают рассматривать то, что не проговорено, как смысловые единицы, например, отражающие отказ или сопротивление обсуждать какие-то темы, культурные способы самопрезентации, то, что считается само собой разумеющимся, или то, о чем нельзя говорить, что немислимо в данном контексте [Poland, Pederson, 1998: 294].

В эмпирических социологических исследованиях молчание может проблематизироваться в нескольких форматах: во-первых, как буквальные паузы и остановки в беседе, которые анализируются исследователями как коммуникативные сложности информантов и затруднения для самих исследователей [Омельченко, 2020]. Во-вторых, молчание может изучаться как маркер табуированных переживаний [McDougall et al., 2025] или травматического опыта, который усиливается невозможностью его проговорить и, как следствие, прожить [Eekhoff, 2021]. И в-третьих, молчание/замалчивание может быть следствием контекстуальных особенностей того, как изучаемая тема, (не) обсуждается в тех или иных социальных, политических и исторических условиях, где для нее нет легитимного языка или использование определенных категорий несет риски санкций и становится предметом самоцензуры [Poland, Pedersen, 1998: 299]. Например, исследователи из Чили анализировали это в отношении опыта репрессий во времена диктатуры или в контексте ее отголосков и биографических последствий для участников своих исследований [Cornejo et al., 2019]. Текущие военные конфликты также оказываются проблематичными для исследователей как политически чувствительные, что в том

числе отражается на (не)возможности говорить об этом открыто (как внутри сообщества, так и с исследователями, например, см. [Коллектив "Solution Lab", 2025; Старцев, 2024]), поскольку устоявшиеся категории маркируют определенную политическую позицию и потенциально несут правовые риски [Erpyleva, 2024; Olimpiva, 2024].

Несмотря на то, что рассмотренные в статье кейсы различны и эмпирически, и методологически, в них обнаружилось схожие вызовы, связанные с тем, что изучаемый социальный опыт не всегда имеет устоявшийся и разделяемый всеми сторонами язык описания. Именно этот разрыв между переживаемым опытом и способами его обозначения мы предлагаем рассматривать как один из способов определения сенситивности поля. Оба эмпирических кейса конвенционально относятся к сенситивным, но это априорное определение, учтенное на этапе составления дизайна исследовательских проектов, не является исчерпывающим. Сенситивность обоих исследований воплощается и на всех последующих этапах, включая поиск общего языка, который позволил бы обеспечить доступ к опыту изучаемых групп.

Мы чувствительны к различиям между кейсами (табу/стигмой и нормализацией в одном поле vs терминологической новизны и неопределенности практики в другом), но не намереваемся доводить их до уровня типологии или набора различных механизмов. Полученный исследовательский опыт лег в основу методологической рефлексии авторов данного текста и предлагает коллегам порассуждать о следующих измерениях сенситивности.

1. Молчание информантов, разрывы в коммуникации заставляют задуматься о достоверности и надежности получаемых результатов. В процессе сбора и анализа данных, содержащих такого рода поломки и затруднения, у исследователей неизбежно возникают сомнения, насколько адекватно предварительные интерпретации и операционализация понятий отражают предмет интереса, позволяют «схватить» нечто важное, существенное. Не навязываем ли мы участникам наши собственные представления (см. также [Poland, Pedersen, 1998: 300])? Не заменяем ли их голос нашими трактовками? В отсутствие конвенционального языка велик риск пропустить значимые для участников аспекты изучаемой реальности или склонить их к определенной ее интерпретации и категоризации. Кроме того, это и сигнал исследователю пересмотреть свои явные и неявные установки и допущения.
2. Мы понимаем, что любое исследование, использующее как качественные, так и количественные методы, является интервенцией, вмешательством в повседневность информантов. Однако, обращаясь к опыту и темам в зоне умолчания, находящимся вне дискурса и их картины мира, мы можем побудить участников думать и переживать по поводу того, о чем они прежде не знали и не думали, заставить переосмыслить и переоценить свой опыт в перспективе, заданной исследователем. В результате возрастает вероятность своеобразного «воспламенения» (priming) новых проблемных зон, переопределения и повышения важности обсуждаемой темы в глазах информантов.



3. Наконец, такого рода методологические затруднения рождают сомнения в себе как в исследователе: если информанты по умолчанию не говорят о том, что составляет предмет нашего изучения, может быть, действительно в этом нет ни социальной, ни социологической проблемы? Расхождение между исследовательской интуицией и наличием эмпирических данных, с одной стороны, является отправной точкой для любого исследовательского вопроса (research gap), а с другой — создает пространство неопределенности и неуверенности, двигаться в котором порой некомфортно самим исследователям.

У нас нет готовых решений для тех методологических коллизий, с которыми мы столкнулись в процессе рекрутинга информантов, сбора и анализа эмпирических данных в рамках рассмотренных кейсов. Скорее, полученный опыт заставил нас пересмотреть и наши исследовательские позиции, и важность обретения с участниками единого языка описания, и необходимость внимания к тому, как говорят и о чем не говорят участники исследования, а в итоге — поставить вопрос о расширении понятий сенситивности, сенситивных полей за счет включения методологически чувствительных проблем. Настоящая статья — это приглашение к дальнейшей исследовательской рефлексии и дискуссии, поскольку мы убеждены, что именно они — один из ключевых ресурсов преодоления подобных сложностей.

Благодарности

Исследование, описанное в кейсе «Социолог в поле генетики», выполнено по инициативе и при поддержке Благотворительного фонда «Острова» (председатель правления — Марк Бенсман; директор — Ольга Нестерук, проект № 123081700051–2) на базе СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН. Соавтор статьи также выражает благодарность руководству СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН в лице Владимира Козловского и Руслана Браславского за поддержку проекта, сотрудникам ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта» Андрею Глотову и Юлии Насыховой за ценные рекомендации по разработке исследовательского инструментария, руководителю и сотрудникам компании «Агентство социальной информации» в лице Ильи Мельника и Сергея Николенко за проведение онлайн-опроса, а также исследовательскому коллективу социологов: Екатерине Орех и Марии Глухой.

Исследование «Особенности профессиональных взаимодействий на рабочем месте в российском здравоохранении» было реализовано в рамках ассоциированной профессуры по качественным исследованиям здоровья и медицины (ИММИ ЕУСПб). Соавтор статьи также выражает благодарность членам исследовательского коллектива проекта, который проделал этот непростой методологический и эмпирический путь: Анне Алтуховой, Елизавете Власовой, Марии Вятчиной, Дарье Литвиной, Дарье Никитиной, Екатерине Токаловой, — и всем коллегам, кто помогал нам в поиске участников исследования, а также информантам и респондентам, которые нашли время и силы поделиться своими историями.

Литература / References

- Баранов В. С., Кузнецова Т. В. Новые возможности генетической пренатальной диагностики // Журнал акушерства и женских болезней. 2015. Т. 64. № 2. С. 4–12. EDN: [TTYWBJ](#)
- Baranov V. S., Kuznetsova T. V. (2015) Novel Options in Prenatal Genetic Diagnostic. *Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznej* [Journal of Obstetrics and Gynecology]. Vol. 64. No. 2. P. 4–12. (In Russ.)
- Богомыякова Е. С., Орех Е. А., Глухова М. Е. Прекоцепционный генетический скрининг в оценках россиян // Социологические исследования. 2025. Т. 6. № 6. С. 129–142. DOI: [10.7868/S3034601025060113](#) EDN: [CCBUOL](#)
- Bogomiagkova E. S., Orekh E. A., Gluhova M. E. (2025) Preconception Genetic Screening in Russians' Assessments. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. Vol. 6. No. 6. P. 129–142. DOI: [10.7868/S3034601025060113](#) (In Russ.)
- Бороздина Е. А. Забота в родовспоможении: выгоды и издержки профессионалов // Журнал исследований социальной политики. 2016. Т. 14. № 4. С. 479–492. EDN: [XHFLUD](#)
- Borozdina E. A. (2016) Care in Maternity Care: Benefits and Costs for Professionals. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki* [Journal of Social Policy Research]. Vol. 14. No. 4. P. 479–492. (In Russ.)
- Бурдые П. Общественное мнение не существует // Социология политики / Пер. с фр. Г. А. Чередниченко; сост., общ. ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. С. 159–179.
- Bourdieu P. (1993) *Obshchestvennoe mnenie ne sushchestvuet* [Public Opinion Does Not Exist]. In: *Sociologiya politiki* [Sociology of Politics]. Transl. from French by G. A. Cherednichenko; N. A. Shmatko (eds.). Moscow: Socio-Logos. P. 159–179.
- Долгов А. Ю. (2024) Обсуждение генетики в социальных медиа: анализ представлений пользователей YouTube о науке и технологиях // Философия науки и техники. Т. 29. № 2. С. 47–60.
- Dolgov A. Yu. (2024) Discussion of Genetics in Social Media: Analysis of YouTube Users' Notions of Science and Technology. *Philosophia nauki i tekhniki* [Philosophy of Science and Technology]. Vol. 29. No. 2. P. 47–60. (In Russ.)
- Здравомыслова Е., Темкина А. Феминистские рефлексии о полевым исследовании // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2014. Т. 5. № 1. С. 84–112. DOI: [UIQRRV](#)
- Zdravomyslova E., Temkina A. (2014) Feminist Reflections on Fieldwork. *Laboratorium: zhurnal sotsialnyh issledovaniy* [Laboratory: Journal of Social Research]. Vol. 5. No. 1. P. 84–112. (In Russ.)
- Коллектив "Solution Lab". «Я продолжаю работать в России»: гражданский и политический активизм в 2022–2025 годах // Аналитические заметки. Berlin: Centre for Independent Social Research in Berlin, 2014. № 3.
- Kollektiv "Solution Lab" (2014) "Ya prodolzhayu rabotat v Rossii": grazhdanskij i politicheskij aktivizm v 2022–2025 godah ["I Continue to Work in Russia": Civil and Political Activism in 2022–2025]. *Analiticheskie zametki* [Analytical notes]. Berlin: Center for Independent Social Research. No. 3.
- Курленкова А. С. «Естественно, дети»: биополитика и био-ответственное родительство на приеме у врача-генетика // Человек. 2019. Т. 30. № 6. С. 112–129. EDN: [AFDYHR](#) DOI: <https://doi.org/10.31857/S023620070007675-9>
- Kurlenkova A. S. (2019) "Naturally, Children": Biopolitics / Bio-Responsible Parenthood at a Medico-Genetic Consultation. *Chelovek* [Human]. Vol. 30. No. 6. P. 112–129. DOI: <https://doi.org/10.31857/S023620070007675-9> (In Russ.)
- Омельченко Е. Л. «Я ничем вам не помог...»: исследовательская рефлексия вслед неудачному интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 12. № 1. С. 81–95. EDN: [OPEJFA](#) DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5>
- Omelchenko E. L. (2020) "I Didn't Help You in Any Way...": Research Reflection after a Failed Interview. *Interaktsiya. Interv'yu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 12. No. 1. P. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.21.5> (In Russ.)



Старцев С. В. Анализ установок исследователя в процессе изучения сенситивных тем: опыт интервьюирования участников военных конфликтов // Социологический журнал. 2024. Т. 30. № 3. С. 61–75. EDN: HEUFQL DOI: <https://doi.org/10.19181/socjour.2024.30.3.3>

Startsev S. V. (2024) Analysis of the Researcher's Attitudes in the Process of Studying Sensitive Topics: The Experience of Interviewing Participants of Military Conflicts. *Sotsiologicheskij zhurnal* [Sociological Journal]. Vol. 30. No. 3. P. 61–75. DOI: <https://doi.org/10.19181/socjour.2024.30.3.3> (In Russ.)

Форум: Опасности поля: перспектива исследователя // Антропологический форум. 2021. № 48. С. 11–88. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88>

Forum: The Dangers of the Field: A Researcher's Perspective (2021) *Antropologicheskij forum* [Anthropological Forum]. No. 48. P. 11–88. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2021-17-48-11-88> (In Russ.)

Широков А. «По-русски говорите»: сообщение информации и обратная связь во взаимодействии врача-генетика и пациента // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2019. Т. 11. № 2. С. 125–148. EDN: DOVHP DOI: <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2019-11-2-125-148>

Shirokov A. (2019) "Speak Russian": Information Delivery and Feedback in Geneticist-Patient Interactions. *Laboratorium: zhurnal sotsialnyh issledovanij* [Laboratory: Journal of Social Research]. Vol. 11. No. 2. P. 125–148. DOI: <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2019-11-2-125-148> (In Russ.)

Burawoy M. (2005) For Public Sociology. *American Sociological Review*. Vol. 70. No. 1. P. 4–28.

Burn S. M. (2019) The Psychology of Sexual Harassment. *Teaching of Psychology*. Vol. 46. No. 1. P. 96–103.

Cornejo M., Rubilar G., Zapata-Sepúlveda P. (2019) Researching Sensitive Topics in Sensitive Zones: Exploring Silences, "The Normal", and Tolerance in Chile. *International Journal of Qualitative Methods*. Vol. 18. P. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1177/1609406919849355>

Dickson-Swift V., James E. L., Liamputtong P. (2008) *What is Sensitive Research. Undertaking Sensitive Research in the Health and Social Sciences: Managing Boundaries, Emotions and Risks*. Cambridge; New York: Cambridge University Press. Vol. 1. P. 1–10. (a)

Dickson-Swift V., James E. L., Kippen S., Liamputtong P. (2008) Risk to Researchers in Qualitative Research on Sensitive Topics: Issues and Strategies. *Qualitative Health Research*. Vol. 18. No. 1. P. 133–144. (b)

Eckhoff J. K. (2021) No Words to Say It: Trauma and Its Aftermath. *The American Journal of Psychoanalysis*. Vol. 81. No. 2. P. 186–206. DOI: <https://doi.org/10.1057/s11231-021-09288-w>

Erpyleva S. (2024) Do Russians Rally Round the Flag? Support for Russia's Full-Scale Invasion of Ukraine Among Russian Citizens. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. Vol. 32. No. 4. P. 309–333.

Ibarra P. R., Kitsuse J. I. (2024) Claims-Making Discourse and Vernacular Resources. In: J. A. Holstein and G. Miller (eds.) *Challenges and Choices*. Hawthorne: Routledge. P. 17–50.

Kırmızı Ö. (2024) Vignette Methodology. *Considerations and Techniques for Applied Linguistics and Language Education Research*. IGI Global Scientific Publishing. P. 91–114. DOI: <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6482-6.ch005>

Lassila E. T., Hyry-Belhammer E. K. (2024) Examining Cross-Cultural Spaces and Researcher Positions in Narrative Research. In: *Narratives in Educational Research: Methodological Perspectives*. Cham: Springer Nature Switzerland. P. 13–32. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-68350-3_2

Lee R. M. (1993) *Doing Research on Sensitive Topics*. London: Sage.

León-Pérez J. M., Escartín J., Giorgi G. (2021) The Presence of Workplace Bullying and Harassment Worldwide. *Concepts, Approaches and Methods*. Singapore: Springer Singapore. P. 55–86.

Litvina D., Novkunskeya A., Temkina A. (2019) Multiple Vulnerabilities in Medical Settings: Invisible Suffering of Doctors. *Societies*. Vol. 10. No. 1. P. 1–5.

Lu L., Dong M., Lok G.K.I., Feng Y., Wang G., Ng C.H., Ungvari G.S., Xiang Y.T. (2020) Worldwide Prevalence of Sexual Harassment towards Nurses: A Comprehensive Meta-Analysis of Observational Studies. *Journal of Advanced Nursing*. Vol. 76. No. 4. P. 980–990. DOI: <https://doi.org/10.1111/jan.14296>

Madison J., Minichiello V. (2000) Recognizing and Labeling Sexbased and Sexual Harassment in the Health Care Workplace. *Journal of Nursing Scholarship*. Vol. 32. No. 4. P. 405–410. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2000.00405.x>

McDougall E., Nordentoft S., Kjærgaard S., Halkett G.K.B., Nowak A.K., Dhillon H.M., Breen L.J., Piil K. (2025) Unveiling the Unspoken: Exploring Taboo Thoughts and Difficult Experiences among Carers of People with Brain Cancer. *PsychoOncology*. Vol. 34. No. 7. P. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1002/pon.70231>

McLaughlin H., Uggen C., Blackstone A. (2012) Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power. *American Sociological Review*. Vol. 77. No. 4. P. 625–647.

Olimpieva I.M. (2024) Russians and the War: Introduction to the Special Issue. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. Vol. 32. No. 4. P. 299–308.

Poland B., Pederson A. (1998) Reading between the Lines: Interpreting Silences in Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*. Vol. 4. No. 2. P. 293–312. DOI: <https://doi.org/10.1177/107780049800400209>

Quick J.C., McFadyen M. (2017) Sexual Harassment: Have We Made Any Progress? *Journal of Occupational Health Psychology*. Vol. 22. No. 3. C. 286–298.

Siebert J.E., Stanley B. (1998) Ethical and Professional Dimensions of Socially Sensitive Research. *American Psychologist*. Vol. 43. No. 1. P. 49–55. DOI: <https://doi.org/10.1037/0003-066x.43.1.49>

Silverio S.A., Sheen K.S., Bramante A., Knighting K., Koops T.U., Montgomery E., November L., Soulsby L.K., Stevenson J.H., Watkins M., Easter A., Sandall J. (2022) Supporting Researchers Conducting Qualitative Research into Sensitive, Challenging, and Difficult Topics: Experiences and Practical Applications. *International Journal of Qualitative Methods*. Vol. 21. P. 1–16. DOI: <https://doi.org/10.1177/16094069221124739>

Spalding N.J., Phillips T. (2007) Exploring the Use of Vignettes: From Validity to Trustworthiness. *Qualitative Health Research*. Vol. 17. No. 7. P. 954–962.

Сведения об авторах:

Новкунская Анастасия Андреевна — кандидат социологических наук, PhD in Social Sciences, доцент, академический директор, Институт междисциплинарных медицинских исследований, ЕУСПб, Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** anovkunskeya@eu.spb.ru. **РИНЦ Author ID:** 989517; **ORCID ID:** 0000-0001-9729-6941.

Богомякова Елена Сергеевна — кандидат социологических наук, доцент, кафедра теории и истории социологии СПбГУ; старший научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** e.bogomyakova@spbu.ru. **РИНЦ Author ID:** 586907; **ORCID ID:** 0000-0002-6514-2881.

Статья поступила в редакцию: 13.02.2026

Принята к публикации: 01.06.2026

БАК: 5.4.1



How to Study What Is Not Talked About? Methodological Challenges of Sensitive Research in Sociology of Health and Medicine

DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.4

Anastasia A. Novkunskeya European University at Saint Petersburg,
St. Petersburg, Russia
E-mail: anovkunskeya@eu.spb.ru

Elena S. Bogomyagkova St. Petersburg State University; Sociological Institute
of RAS — Branch of the FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia
E-mail: e.bogomyagkova@spbu.ru

Abstract

In sociology, the sensitivity of research is often defined as a set of characteristics of certain empirical fields, or as ethical challenges that arise in the research process for both its participants and the researchers themselves. This paper proposes to consider the sensitivity of the field, including methodological difficulties and research solutions.

The paper consists of research reflection of two empirical cases: a project devoted to the unwanted workplace interactions in Russian healthcare and a project devoted to the possibilities of molecular genetic testing for families affected by hereditary diseases and planning to have children. Both studies were conducted using a mix-method approach: online surveys and qualitative semi-structured interviews. In both cases, the topics studied can be considered conventionally sensitive, as they relate to intimate (including reproductive and sexual) experiences, experiences of violence and/or unwanted interactions, and, in part, psychologically traumatic experiences. However, we focus not on the ethical aspects of sensitivity, but rather on the ways it affects the ability to describe such experiences, to refer to established words and categories, and, as a result, on the very possibility of studying them using familiar sociological tools associated primarily with textual data.

The work does not offer ready-made instructions for dealing with such methodological challenges, but invites readers to discuss how to study what is not talked about.

Keywords: sensitive fields; methodological challenges; sociology of medicine; languages of description; mix-method research; preconception genetic screening; workplace harassment

Authors bio:

Anastasia A. Novkunskeya — Candidate of Sociology, PhD in Social Sciences, Associate Professor, Academic Director, Institute for Interdisciplinary Health Research, European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** anovkunskeya@eu.spb.ru. **RSCI Author ID:** 989517; **ORCID ID:** 0000-0001-9729-6941.

Elena S. Bogomyagkova — Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of Theory and History of Sociology, St. Petersburg State University; Senior Research Fellow, Sociological Institute of RAS — Branch of the FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** e.bogomyagkova@spbu.ru. **RSCI Author ID:** 586907; **ORCID ID:** 0000-0002-6514-2881.

Received: 13.02.2026
Accepted: 01.06.2026



DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.5

EDN: DTLHWZ

«Работа мертвых»: как устроены социальные похороны бездомных в Санкт-Петербурге

Ссылка для цитирования:

Чекрыгин А. А. «Работа мертвых»: как устроены социальные похороны бездомных в Санкт-Петербурге // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 3. С. 90–114. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.5> EDN: DTLHWZ

For citation:

Chekrygin A. A. (2026) "The Work of the Dead": How Social Funerals for the Homeless Work in St. Petersburg. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 3. P. 90–114. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.3.5>



Чекрыгин Андрей Александрович

Независимый исследователь,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: chekr96@gmail.com

Статья базируется на этнографическом исследовании организации социальных похорон бездомного человека в Санкт-Петербурге. Автор совмещает две позиции — практикующего социального работника благотворительной организации «Ночлежка» и антрополога-исследователя, что позволяет получить доступ к труднодоступному и этически сложному полю. Работа с полевым дневником, интервью и документами позволяет проследить, каким образом различные акторы взаимодействуют с телом умершего человека, о котором не могут позаботиться близкие родственники. В поле организации социальных похорон ключевыми оказываются акторы, которые определяют посмертное устройство тел в городском пространстве и за его пределами: это государство, рынок ритуальных услуг и гражданское общество. Их совместная работа представлена как повторяющееся драматическое действие с заранее заданными сценариями, в рамках которых смерть бездомного человека приобретает специфический бюрократический и социальный статус. Перемещаясь между институтами, тело приобретает разные формы: благополучатель в некоммерческой организации, объект



патологоанатомического исследования в морге, носитель персональных данных в государственном учреждении, «социалка» для работников кладбища. Социальные работники, постоянно сталкивающиеся с кризисными и стрессовыми ситуациями, осознают смерть своих клиентов как часть рабочей повседневности и не всегда могут реагировать на нее как на потери. При этом они испытывают растерянность и пустоту там, где ожидаются эмоции утраты, и заполняют это пространство бюрократической работой, выходящей за пределы профессиональных обязанностей, а также изобретенными коммеморативными ритуалами.

Ключевые слова: социальная работа; похороны; коммеморация; бездомность; институциональная логика; бюрократия

...It matters because the living needs the dead far more than the dead need the living. It matters because the dead make social worlds. It matters because we cannot bear to live at the borders of our mortality.

T. W. Laqueur, "The Work of the Dead"

Введение

Социальная работа начинается там, где случаются сбои социальных институтов семьи, рынка труда, соседской общины. Ее клиенты — это те, кто провалился в эти разрывы [Шанин, 1997]. Развивая эту мысль, можно сказать, что социальный работник заполняет разрывы институтов при жизни человека и, в некоторых ситуациях, после его смерти.

Осенью 2025 года умер бездомный человек, которому я на протяжении полутора лет помогал как социальный работник благотворительной организации «Ночлежка». Я организовал его похороны, чтобы у людей, знавших его при жизни, появилась возможность проститься. Это стало точкой входа в исследование социальных похорон бездомного человека. Социальные похороны — это захоронение за счет государства. Это не официальный термин, а определение из общего знания соцработников, сотрудников муниципальных служб и представителей рынка ритуальных услуг.

Труднодоступность поля организации социальных похорон обусловлена в первую очередь его институциональной закрытостью. Тех, чьей посмертной судьбой не занимаются близкие или родственники, работники государственных муниципальных служб захоранивают на специально отведенных участках кладбищ¹. Это происходит «взакрытую», работа выполняется исключительно сотрудниками ведомств, которые никак не связаны с умершим человеком. Участие посторонних лиц не предусматривается².

¹ См. [фото из архива автора](#): пример такого участка на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.

² Погребение лиц без определенного места жительства в России // Городская специализированная служба по вопросам похоронного дела. URL: <https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/pogrebenie-lits-bez-opredelyennogo-mesta-zhitelstva-v-rossii/> (дата обращения: 14.02.2026).

«Социальное» от государства (санитарная логика системы здравоохранения) происходит в ситуации, когда «социальное» от родственников (логика достойного прощания с усопшим) отсутствует. Со стороны сотрудника благотворительной организации похороны организуются на стыке границ этих логик.

Поле, связанное со смертью бездомных людей, является этически и психологически напряженным. Смерть человека прерывает сложившиеся дружеские и соседские отношения с жильцами приюта, меняет основания профессиональных отношений «сотрудник — клиент». При этом смерть одного клиента не может вырвать социального работника из рутины: приходят новые люди, продолжается работа со старыми, времени на эмоции и рефлексии почти нет. В исследовании я пытаюсь отрефлексировать профессиональную уязвимость и ее обнажение перед лицом смерти.

Организация похорон бездомного человека в России происходит в условиях сжатых сроков (на каждом этапе задаются жесткие временные рамки), фрагментарной информации о порядке действий и распределении ответственности между муниципальными ведомствами и коммерческими структурами. Эти обстоятельства существенно ограничивают возможности внешнего наблюдения и делают многие практики видимыми лишь в момент непосредственного участия в них. Чтобы понять, почему похороны бездомного человека устроены именно так, необходимо обратиться к тем институциональным режимам, в рамках которых бездомность определяется, учитывается и управляется при жизни [Hopper, 1991]. Прежде чем перейти к ним, нужно погрузиться в контекст и определиться с основными определениями в поле.

Социальные исследования бездомности и смерти

Западные социальные исследования бездомности начались с работ Чикагской школы. В этих исследованиях город рассматривался с экологических позиций: как пространство маргинальности и социальной адаптации [Park, 1915; Anderson, 1923]. Позднее бездомность стала связываться с динамикой бедности и состоянием рынка жилья [Rossi, 1989], а также с микросоциологией повседневных стратегий выживания и уличной организации жизни [Snow, Anderson 1993]. Европейские исследователи обращали внимание на проблему социального исключения и стоящих за этим институциональных механизмов. В практическом смысле это нашло отражение в типологии бездомности и жилищной маргинализации ETHOS (2005) [Busch-Geertsema et al., 2010], речь о которой пойдет далее.

Современные исследователи рассматривают бездомность через призму социальной политики, понятия мобильности и неравенства, в частности, в исследованиях городской инфраструктуры помощи [Lancione, 2016]. По отношению к бездомным людям город использует различные стратегии: контроль, удаление, заботу и др. [Cloke, May, Johnsen, 2010].

В российском контексте тема бездомности достаточно популярна в последнее десятилетие. Отметим монографию Тове Хейдестранд [Höjdestrand,



2011], основанную на этнографической работе в России в 1990–2000-х годах (интервью и наблюдения за повседневной жизнью бездомных Петербурга). Практико-ориентированные статьи на российском материале посвящены осмыслению причин бездомности, их типологизации и содержат практические рекомендации для специалистов, работающих в этой сфере [Коваленко, Строкова, 2013; Виноградова, 2021; Метелева, Богданова, 2022]. Академические исследования бездомности в России также направлены на гендерные отношения, скрытую женскую бездомность и повседневные практики выживания [Кузинер, 2020; Кузинер, 2024]. С 2023 года наблюдается рост интереса к теме, в том числе благодаря совместным образовательным и исследовательским инициативам «Ночлежки», Шанинки и тематическим выпускам журналов, например, «Пути России» в 2024–2025 годах. В последнем были опубликованы исследования, анализирующие стратегии жизни людей на улицах, их взаимодействие с городской инфраструктурой, а также встроенность бездомных в экономическую и социальную жизнь [Шульц, 2024; Яхно, 2024; Крихтова, 2024; Мальков, 2024]. Академические конференции также привлекают исследователей, которые занимаются этнографией в поле бездомности³.

Прикладные количественные исследования причин, по которым люди оказываются в ситуации бездомности, представлены масштабными клиентскими опросами, которые проводят сотрудники «Ночлежки»⁴. В 2022 году исследовательская компания Validata применила оригинальную модель сбора количественных данных на основе статистики об умерших⁵. Аналитический центр НАФИ проводил опросы, посвященные отношению россиян к бездомности. Отдельно следует отметить исследования о распространенности опыта бездомности среди граждан России (на основе базы данных репрезентативного обследования «Человек, семья, общество — 2023», N = 9508 человек) [Цацура, Осаволюк, 2024].

Антропология рассматривает смерть не только как биологическое событие, но и как социально и символически организованный процесс. Роберт Герц показал коллективную логику погребального ритуала [Герц, 2019], а Филипп Арьес — историческую изменчивость представлений о смерти, трауре и умирании [Арьес, 1992]. Для настоящего исследования значимы работы Сергея Мохова о похоронной индустрии. Мохов рассматривает смерть как область пересечения рынка, государства, ритуальных практик и моральных норм [Мохов, 2016; Мохов, 2017].

³ Например: Ескин К. «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах»: локальная рациональность и восприятие времени среди уличных бездомных Москвы. Устный доклад. Конференция «Антропология, фольклористика, социолингвистика». Европейский университет в Санкт-Петербурге, 12.03.2026–14.03.2026; Захарова А. О. Представление себя другим в среде бездомных (на примере Санкт-Петербурга). Устный доклад. Конференция «Актуальные вопросы этнологии и антропологии», Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 3.12.2025–5.12.2025.

⁴ Результаты опроса 2025 года в Консультационной службе «Ночлежки». Количество участников — 1556 человек. URL: https://homeless.ru/who_is (дата обращения: 14.02.2026).

⁵ Новости // Ночлежка. URL: https://homeless.ru/news/skolko_bezdomnykh_lyudey_v_rossii_issledovanie_validata (дата обращения: 14.02.2026)

Социальные похороны являются логическим продолжением тех же институциональных режимов, которые определяют доступ к помощи при жизни. Смерть бездомного человека не разрывает социальные отношения, а переводит их в иной регистр — бюрократический и пространственный. Когда мы говорим непосредственно о социальных похоронах, продуктивной кажется концепция Аннмари Мол о множественном теле (the body multiple). Мол утверждает, что тело представляет собой не единую онтологическую данность, а множественность версий, каждая из которых осуществлена (enacted) в конкретных практиках, институциях и взаимодействиях: «Ни один объект, ни одно тело, ни одна болезнь не являются единичными. Если никакая сущность не изымается из поддерживающих ее практик, то реальность множественна» [Мол, 2017: 35]. Тело существует не в одном, а в нескольких онтологических режимах одновременно или последовательно. Каждый актор (государство, рынок, соцработник) «активирует» определенную онтологию.

Логика социальной помощи

В России существует несколько подходов к определению бездомности и методов ее подсчета. Государственная система опирается на определение, в рамках которого бездомным может быть признан только гражданин Российской Федерации, не имеющий зарегистрированного места жительства и собственности, а также отметки о регистрации в паспорте⁶. Такая формулировка задает не только границы статистического учета, но и условия доступа к социальной помощи.

Государственная помощь бездомным людям в значительной степени зависит от региональных моделей социальной политики. В Санкт-Петербурге ключевым элементом этой системы являются дома ночного пребывания, функционирующие в каждом районе города. Однако доступ к ним возможен лишь при соблюдении ряда формальных условий: наличие российского паспорта, соответствие установленному определению бездомности, а также заключение индивидуального плана предоставления социальных услуг (ИППСУ) через Центр организации социального обслуживания. Процедура оформления включает прохождение медицинских обследований и получение справок от психиатра и нарколога, что на практике занимает до двух недель. Даже после выполнения всех требований договор заключается на ограниченный срок (не более шести месяцев), а общее количество мест в системе ночного пребывания не превышает двухсот на весь город. Таким образом, государственная модель социальной помощи ориентирована на ограниченную категорию бездомных, попадающую под юридическое определение. Для сотрудников негосударственных организаций, работающих с бездомными, очевидно, что

⁶ ГОСТ Р 52495–2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Общие требования к системе социального обслуживания. 2005. URL: <https://mari-el.gov.ru/upload/medialibrary/9d9/dbijzi6e7w9kc3nqw8do0abhk3vg254m.pdf?ysclid=mo48m9a8kd220386761> (дата обращения: 14.02.2026).



значительная часть этих людей не может воспользоваться государственными сервисами. Потеря или кража паспорта⁷, наличие регистрации в другом регионе, иностранное гражданство или отсутствие гражданства закрывают доступ к домам ночного пребывания.

Некоторые некоммерческие организации опираются на другое определение бездомности. Упомянутая выше европейская типология бездомности и жилищной исключенности (ETHOS) рассматривает бездомность как социальное положение, связанное с отсутствием безопасного и стабильного жилья. Типология выделяет четыре формы такой ситуации: уличная бездомность, проживание в приютах, небезопасные жилищные условия и неподходящее жилье⁸. Такой подход расширяет границы признания нуждаемости и позволяет рассматривать бездомность не как фиксированный статус, а как временную ситуацию. Эта концептуализация лежит в основе практик сопровождения: социальная помощь в НКО строится как комбинация различных проектов. Их можно разделить на низкопороговые гуманитарные проекты, которые позволяют выжить на улице (пункты обогрева, точки раздачи еды и одежды) и более сложные, высокопороговые проекты, рассчитанные на длительное проживание (приюты для людей разного возраста, реабилитационные проекты для людей с опытом зависимости). Высокопороговые проекты предполагают индивидуальную работу, сервисное планирование и взаимодействие множества различных специалистов (соцработников, психологов, юристов, специалистов по зависимости и др.).

Статистика как способ (не) видеть бездомность

Различие в определениях бездомности напрямую отражается в статистике. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2021 года, численность бездомных в России составляет 11 285 человек⁹. При этом методы сбора данных остаются непрозрачными, а учет происходит по наличию людей в конкретный момент времени. Однако бездомный человек не привязан к месту жительства, поэтому стандартная процедура переписи может не зафиксировать его. Негосударственные организации ставят под сомнение не столько сами цифры, сколько вопрос, лежащий в основе сбора данных. «Ночлежка» совместно с исследовательской группой Validata предложила альтернативный подход, основанный не на учете живых, а на анализе данных о мертвых¹⁰.

⁷ Вторая по частоте причина бездомности по данным «Ночлежки». Кто такие бездомные? // Ночлежка. URL: https://homeless.ru/who_is/?city=msk (дата обращения: 14.02.2026).

⁸ ETHOS Typology // FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless). URL: <https://www.feantsa.org/ethos> (дата обращения: 14.02.2026).

⁹ Бойко А. Число бездомных снизилось в 6 раз за 10 лет // Ведомости. 2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/01/19/959587-chislo-bezdomnih-snizilos-v-6-raz> (дата обращения: 14.02.2026).

¹⁰ Валидейта. Итоги работы по модели HELP/VALIDA: оценка числа бездомных на основании данных об их смертности. М.: Благотворительный фонд помощи бездомным «Ночлежка», 2022. URL: https://homeless.ru/upload/iblock/a63/Itogi_raboty_po_modeli_HELP_VALIDATA.pdf (дата обращения: 14.02.2026).

В качестве эмпирической базы были использованы данные Росстата, предоставленные по запросу и связанные с неопознанными телами без документов и умершими без регистрации по месту жительства.

Томас Лакер утверждал, что мертвые делают свою «работу», создавая социальные миры [Laqueur, 2016: 1]. О похожем пишет Ллойд Уорнер: «„Город мертвых“ — символическое подобие города живых» [Уорнер, 2000: 312]. На основе анализа статистики мы видим, как при помощи правильно поставленного вопроса мертвым можно получить новый ответ о границах существующих групп среди живых.

Социальные похороны в Санкт-Петербурге: кейс-стади

Предлагаемое исследование продолжает традицию этнографических исследований бездомности и дополняет относительно малоизученное поле. Темы смерти бездомного человека и организации социальных похорон до настоящего времени почти не были представлены в академическом пространстве. Еще один рассматриваемый сюжет — тема эмоций в профессиональном поле — вдохновлен работой Ричарда Лейкмана о дублинских сотрудниках социальной сферы. Используя обоснованную теорию, интервью и наблюдение, он изучал, как сотрудники различных помогающих организаций воспринимают смерть своих подопечных, как это выражается в эмоциях и ритуалах [Lakeman, 2011].

В исследовании я соединяю роли антрополога и социального работника; оптики внешнего наблюдателя и непосредственного участника; эмоциональные режимы специалиста, который решает бюрократические задачи, и человека, который был свидетелем чьей-то жизни (и смерти). В первую очередь в исследовании меня интересует, каким образом смерть бездомного «осуществляется» в институциональных практиках различных акторов. Одним из этих акторов являюсь я сам — социальный работник, который и выполняет государственные предписания, и создает личные коммеморативные практики.

Методы и данные

Социальная работа чем-то похожа на исследование в качественной методологии. Социальный работник имеет дело с case work — работой с отдельным случаем. Это определение близко к социологическому понятию case study — исследование, фокусированное на отдельном случае [Platt, 1992: 4] Сходство близко по структуре, но не исчерпывающе по содержанию. Тем не менее, это во многом определило специфику моего исследования, как и моей роли в нем: быть на пересечении двух ролей, двух методов. Герберт Ганс считал, что в обществе существуют «слабые звенья», и задача этнографов — сделать их видимыми для общества, чтобы была возможность им



помочь [Becker et al., 2004: 266]. Он полагал, что использование этнографии позволит услышать голоса маргинализированных, лучше узнать обстоятельства их жизни. Именно роль социального работника помогла мне получить доступ к закрытым для посторонних дверям ведомственных учреждений. Роберт Берджесс пишет о четырех ролях поведения в исследовательском процессе сбора эмпирических данных: 1) участник; 2) участвующий наблюдатель; 3) наблюдающий участник; 4) наблюдатель. Специфика роли исследователя и социального работника в поле, связанном с социальными похоронами, включает в себя работу с переключением всех указанных выше ролей в процессе наблюдения.

География исследования ограничена Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В моем случае главным инструментом полевой работы было включенное наблюдение (с фиксацией визуальных данных через фотографии), ведение полевого дневника с насыщенным описанием происходящего на всех этапах [Гирц, 1997: 105]. Кроме того, я взял несколько полуструктурированных интервью у сотрудников муниципальных ведомств и представителей коммерческих структур, собирал документы и другие материальные свидетельства. Все имена информантов изменены.

Социальные похороны в России

Разговорный термин «социальные похороны» имеет под собой законодательную базу. Процесс организации похорон изложен в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле»¹¹. В нем не встречается термин «социальные похороны». Но существует близкая формулировка «социальное пособие на погребение» (ст. 10). Оно выплачивается в случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. Бездомные люди попадают под определение категорий граждан из статьи 12 этого же Федерального закона: «гарантии погребения погибших (умерших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего».

Социальный работник обычно не состоит в родственной связи с клиентом. Но по своей инициативе он может собрать документы на обозначенное выше социальное пособие на погребение, и тогда появляется возможность исследовать все этапы бюрократической работы, предшествующие захоронению бездомного человека¹². В терминологии сотрудников кладбища это «социалка».

¹¹ Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8–ФЗ «О погребении и похоронном деле» (ред. от 06.04.2024) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 146. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 14.02.2026).

¹² Стоит уточнить, что участие постороннего человека в организации социальных похорон доступно не во всех регионах России. Например, в Москве нельзя организовать «открытые» похороны (с возможностью прощания) для человека без московской регистрации.

Герц рассматривал смерть как двунаправленный социальный процесс, включающий разрушение прежних связей и их последующую пересборку [Герц, 2019: 88–89]. Уместно задаться вопросом: происходит ли пересборка общества в социальных похоронах? Для ответа нужно приглядеться к событиям, которые происходили с человеком до его смерти.

Живые

Мой клиент Александр родился в 1956 году. На момент нашего знакомства он имел двадцатилетний стаж бездомности, трудности с документами (отсутствие российского паспорта), опыт длительного проживания в заброшенных зданиях и подвалах. Почти десять лет он лечился от туберкулеза. Позднее противотуберкулезный диспансер стал местом его работы (он устроился дворником), здесь же ему восстановили документы. За два года до смерти на флюорографии обнаружили рак, работать Александр больше не мог. В мае 2024 года он обратился за помощью в «Ночлежку». За год совместной работы мы смогли собрать документы для оформления инвалидности и пенсии, организовали многочисленные медицинские обследования. Александр не дождался своей очереди в интернат. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья я определил его в хоспис, где он и провел последние дни.

Концепцию Зигмунта Баумана о «человеческих отходах» (wasted humans) можно использовать для иллюстрации государственной логики по отношению к жизни и смерти бездомных в России: «Производство „человеческих отходов“, или, точнее, потраченных впустую людей... является неизбежным результатом модернизации и неотделимым спутником современности» [Bauman, 2013: 5]. Бауман утверждает, что идеал государства современного типа — прогнозируемое, идеологическое, рационально обоснованное построение общества. Такому обществу присущи бинарные оппозиции: правильное — неправильное, полезное — бесполезное. Это предполагает существование нормативных моделей порядочных граждан, которые соответствуют ценностным ожиданиям государства (а также успешно интегрированы социально и экономически), и тех, кто им противоположен (маргинален). Сегодня это беженцы, мигранты, бездомные. Иначе говоря, социальная инженерия модерна производит то, что можно назвать «человеческими отходами». Подход к проблеме «лишних людей» менялся со временем. Ранее их пытались утилизировать внутри системы через труд или тюремное заключение. С развитием социального государства акцент сместился на попытки интеграции через институты социальной поддержки, сейчас же мы видим логику удаления тех, кого система не может ассимилировать, за пределы видимости [Бауман, 2008]. Эта концептуальная модель помогает раскрыть логику институции, которая определяет бездомного человека при жизни и его тело в пространстве города после смерти. То, что у Баумана определено как «человеческие отходы», в российском контексте имеет свой языковой аналог, несущий отпечаток современной



советской категоризации. Это «лицо БОМЖ» при жизни и «невостребованный умерший» после смерти.

Как положение человека при жизни приводит к его социальным похоронам? Неслучайно на уровне языка происходит странная игра смыслов. Бездомность можно определить как социальную смерть, выпадение человека из привычных связей с близкими. Биография Александра в каком-то смысле типична для человека его возраста, оказавшегося в ситуации бездомности. Она соответствует идее о «человеческих отходах» модерна: утрата привычного образа жизни и юридической легитимности после распада СССР, выпадение из привычных социальных связей и жизнь на социальной периферии. Для меня как соцработника такая типичность социальных проблем стала одной из причин деперсонализации. В каком-то смысле можно назвать это профессиональным аффектом, характерным для помогающих профессий, в случаях, связанных со смертью подопечных [Lloyd et al., 2002]. Помогаящие специалисты часто воспринимают человека как набор жизненных проблем, кейсов, которые нужно решить для выполнения сервисного плана. В чем-то это похоже на логику государственных институций: отдельный бездомный человек — часть общей проблемы. Его нужно удалить из публичного пространства, при этом можно игнорировать процессы структурного неравенства, которые приводят к ней. Сам бюрократический характер работы с большим количеством людей порождает такой тип отношений. Это похоже на то, что описывал Дэвид Гребер в «Мертвых зонах воображения»: «Бюрократическая процедура неизменно означает игнорирование всех тонкостей реального социального существования и сведение всего к заранее заданным механическим или статистическим формулам» [Graeber, 2012: 119]. В биографии Александра заметны следы социальной сегрегации и исключения при жизни. Это же будет продолжаться и после смерти: в том, как муниципальные власти организуют логику захоронения невостребованных умерших.

Мертвые

Опыт бездомности связан с большими рисками для здоровья¹³. Бездомные имеют более высокие показатели смертности, чем люди, имеющие дом [Lakeman, 2011: 926]. Для социального работника, работающего с уязвимыми группами, столкновение со смертью становится частью рабочей повседневности, и это определенным образом влияет на его психическое состояние. Сотрудники помогающих организаций знают, что их клиенты находятся в уязвимом положении, имеют меньшую продолжительность жизни и более высокий риск смерти. Но когда это происходит, это может оказаться

¹³ Продолжительность жизни бездомных на 19 лет меньше, чем у остальных россиян. Шанс умереть от внешних причин для бездомных в 3,6 раза выше, чем у всех остальных, от инфекционных болезней — в 4,3 раза выше, от заболеваний пищеварения и дыхания — в 1,2 раза выше. Исследование «Ночлежки» и «Если быть точным». URL: <https://tochno.st/materials/bezdomnye-umiraiut-na-19-let-ranse-ostalnyx-rossiian-i-casto-ot-boleznei-kotorye-legko-lecatsia> (дата обращения: 14.02.2026).

шокирующим. Лейкман раскрывает этот парадокс через концепцию «ожидания неожиданного» (expecting the unexpected): знание о рисках смерти, подготовка к этому факту и, тем не менее, всегдашняя внезапность экзистенциального столкновения со смертью [Lakeman, 2011: 932].

После смерти у человека теряются субъектность и способность регулировать свое положение в пространстве. Эту функцию теперь выполняют другие люди. Тело приобретает новое социальное измерение и продолжает жизнь, претерпевая бюрократические изменения. Как правило, другой человек — близкий, свидетель — начинает действовать по алгоритмам местной правовой культуры. В крупном городе России в первую очередь вызывают сотрудников скорой помощи и полиции. Фельдшер устанавливает факт смерти, полиция составляет протокол осмотра тела. Юридическое тело человека (точнее, его статус после прекращения биологической жизни) обретает правильную форму. Далее вызывается специализированная служба, которая транспортирует тело усопшего в морг.

Когда Александр умер, рядом были сотрудники хосписа. Они оповестили меня, я — соседей Александра по приюту (когда он находился на лечении, они спрашивали о нем, навещали, привозили продукты). Фрагмент полевого дневника, 22 сентября:

«Рассказываю жильцам про смерть Александра. <...> Главный вопрос для меня — кто хочет проститься. Находится пара человек. Это единственная причина заниматься социальными похоронами, это сложно, долго и требует денег, которые наша бухгалтерия не сможет покрыть. В этот же день я звоню в морг. Узнаю график работы. Сообщают, что тело направлено на патологоанатомическое вскрытие, и по опыту это занимает три-четыре дня (это делается, чтобы исключить насильственные причины смерти, результаты передаются сотрудникам полиции)».

В консультационной службе «Ночлежки» есть пошаговые инструкции, определяющие порядок действий для конкретных ситуаций. Работники социальной сферы, которые часто оказываются в эмоционально нагруженных и стрессовых ситуациях, с готовностью опираются на предписания («сталкиваясь со смертью, люди находили утешение в следовании процедурам» [Lakeman, 2011: 934]). Как уже было сказано, организация социальных похорон не входит в обязанности социального работника и находится за пределами должностных инструкций. Она предполагает добровольное расширение собственных обязанностей и профессионального участия. В ситуации многообразия возможных задач без четких предписаний низовые бюрократы (street-level bureaucrats) самостоятельно принимают решения, опираясь на обстановку, собственные представления о работе и др. [Lipsky, 1971]. Этот выбор в исследованиях государства называют дискрецией [Lipsky, 1971], и хотя социальные работники некоммерческой организации не являются



чиновниками в том смысле, в котором о них рассуждал Майкл Липски, их работа имеет схожие черты.

Организация социальных похорон напоминает театральную постановку о бюрократической жизни (с плохим концом). Одна сцена сменяет другую в строгой последовательности: нельзя перейти с первого акта (известие о смерти) в финальный (похороны на кладбище), минуя промежуточные сцены. Ключевой герой здесь — бюрократическое тело, во всех сценах оно будет меняться и приобретать институциональную форму, необходимую для следующего шага и, в дальнейшем, погребения.

Акт 1. Морг больницы. Получение справки о смерти

Морг при больнице, куда попадает мертвое тело, можно представить в виде государственной сортировочной станции. Он принимает всех: людей, чьим посмертным устройством занимаются близкие (самостоятельно или при помощи ритуальных агентств); граждан, личность которых не удается определить сотрудникам полиции; мертвых людей, за которыми не приходят родственники или друзья; бездомных, о посмертной участи которых также некому позаботиться. «Домашние» люди покидают двери морга быстро (со слов сотрудницы морга, это происходит обычно в течение двух недель). Тела бездомных, как и других «безродников», могут храниться в морге до полугода. Затем их захоранивают на специальных участках кладбищ. Фрагмент полевого дневника, 30 сентября:

«В морге на территории больницы соседствуют три организации (или агента?), между которыми происходит непрерывное взаимодействие. Сотрудники больницы, ритуальное агентство, ИП при морге... Женщина средних лет быстро определила, кто я, мою платежеспособность. Эту способность разделять людей на потенциальных клиентов и прочих я замечу и далее на разных этапах организации маршрута. <...> Наталья — приятная дама, подробно расписала мне дальнейшие шаги. По поводу возможных услуг сказала следующее: „Вся красота за Ваши деньги“. Поделилась своими проблемами. Дело в том, что тела в морге, которые не забирают родственники или попечители, должны храниться до полугода. Это хлопотно и затратно для морга. Спросила, знаю ли я еще такого человека (назвала ФИО и показала справку о смерти неизвестного мне человека). Я проверил по нашим базам данных, в „Ночлежку“ он не обращался. Предложила и его забрать вместе с моим клиентом, „Вам же не сложно“. Я вежливо отказался. <...> Точных цифр, на которые стоит рассчитывать, не назвали, видимо, это зависит от оценки сотрудником потенциального клиента и тех услуг, на которые он готов будет согласиться».

Сотрудница морга действует в рамках своей профессиональной дискреции. Она не выдает мне хотя бы примерную информацию о ценах, которой, без сомнения, владеет: это нарушит коллегиальное сотрудничество с соседним коммерческим ведомством. В рамках этой же дискреции она проверяет границы моей — могу ли я избавить ее от проблемы в виде еще одного безродного тела. Фрагмент полевого дневника, 30 сентября:

«Я объяснил, что я социальный работник, и в идеале нам нужен минимум услуг. Мы пришли к стоимости 8 800 рублей. Туда входит санитарная обработка тела, фиксация и вынос».

В морге тело существует как объект патологоанатомического вскрытия, санитарной обработки, хранения. Здесь оценивается стоимость погребения в зависимости от статуса мертвого человека при жизни. Расчет делается по платежеспособности человека, который решился взяться за организацию похорон («вся красота за Ваши деньги»), предлагаются процедуры физической трансформации тела (грим, одежда, фиксация в гробу). Тело в этой сцене — материальный объект, подчиненный логике санитарных норм и коммерческого подсчета.

Акт 2. Отдел регистрации актов о смерти. Получение гербового свидетельства и справки о смерти формы № 11

Отдел РАГС находится практически в центре Петербурга. Это единственное место в городе, где можно получить гербовое свидетельство и справку о смерти нужной формы (районные отделы ЗАГС смерть не регистрируют). На одной улице с отделом РАГС располагается несколько коммерческих организаций ритуальных услуг. Внутреннее устройство, работа специалистов и ожидание в электронной очереди — все отправляет к сервисному устройству организации вроде МФЦ. Фрагмент полевого дневника, 3 октября:

«Пока сижу в очереди, читаю отзывы на ритуальные агентства поблизости. Интересными показались благодарности агентам, выраженные в табельном номере („спасибо агенту № 138...“). Кажется, что ситуация потери будто бы структурно может одинаково проживаться у жителей города. Потребности людей достаточно типичны: проститься, избежать мошенников и бумажной волокиты. Люди платят деньги для избавления от хлопот, связанных с бумагами, торгами с моргом: „В самые трудные моменты жизни, когда слова утешения кажутся недостаточными, профессионализм и чуткость окружающих становятся особенно ценными“».



Акт 3. Социальный фонд России. Пособие на погребение

Следующий этап — посещение Социального фонда (бывшего Пенсионного фонда России (ПФР)). Здесь выдают выписку о получаемых социальных услугах, по сути, это легитимация выплаты пособия на социальное погребение. Фрагмент полевого дневника, 6 октября:

«— У нас очень строго отслеживается закон о персональных данных. Поэтому либо сам человек должен прийти, либо...

— Он не придет! Человек умер, а я занимаюсь его социальными похоронами.

— Так и сказали бы сразу!»

В Социальном фонде тело становится объектом персональных данных и социальных выплат. Его существование обусловлено соблюдением законодательных процедур. Тело здесь — след трудовой книжки, на ее основе институция выделяет пособие на погребение. Кажется, что происходит бюрократическая процедура оценивания стоимости жизни отдельно взятого человека, пенсионные отчисления его трудовой биографии. Сотрудница социального фонда будто бы говорит словами библейского пророка: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5:25–30). Социальное тело бездомного человека легко.

Интермедия

Фрагмент полевого дневника, 13 октября:

«Сотрудник морга заранее объяснил, что одежда нужна 50-го размера примерно, желательно в темных тонах. Предложил несколько вариантов с разной ценой. Если делать гроб открытым, то можно загримировать тело и надеть на него заготовленную одежду. Вариант дешевле: тело накрывается аккуратно разрезанной одеждой сверху, голова покрыта платком. Эконом-вариант: тело в мешке, одежда внутри (не надевается). Я собрал одежду в пункте выдачи „Ночлежки“. Нашел большой черный пиджак, брюки, ботинки. Все разных размеров, но постарался собрать лучшее. Белье. Черные носки недавно кончились, подумал, что возьму дома из своих. <...> Перед выходом сотрудник ИП сообщил мне о важности для души первых 40 дней».

Ритуальные агенты и ИП при морге «осуществляют» тело как товар, подлежащий дифференциации по платежеспособности клиента. При этом, несмотря на всю формализацию их работы, они оставляют место для ритуальных напутствий.

Акт 4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших». Получение квитанции

В этой службе выдают квитанции об оплате пособий по погребению, выстраивают логистику перемещения тела, назначают дату и время, когда сотрудник ведомства подъедет в морг для дальнейшей транспортировки тела на кладбище. Фрагмент полевого дневника, 14 октября:

«Женщина [посетительница] часто оглядывается по сторонам. Делится своей тревогой, ей хочется, чтобы у нее была возможность проститься с мужем. В морге ее не пустили к телу. Из своих скудных знаний рассказываю о том, как это обычно происходит в формате социальных похорон (перед непосредственной отправкой тела на кладбище будет полчаса на прощание). В какой-то момент мысленно останавливаюсь и задаю себе вопрос, какое слово использовать уместнее — „тело“ или „человек“? Государство тоже сталкивается с такой проблемой. В инструкции на сайте „Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших“ есть четыре карточки под названием „Что делать, если умер близкий человек“. Уже на втором слайде „близкий человек“ становится трупом: „вызвать полицию для составления протокола осмотра трупа“»¹⁴.

В этом разнообразии слов — тело, труп, мертвый человек, ваш близкий и т. д. — как будто бы осуществляется та самая множественность, о которой писала Мол [Мол, 2017]. Язык предполагает разное отношение к каждому из понятий, разную эмоциональную реакцию на смерть, но единую бюрократическую инструкцию — последовательность действий, которые делают это событие законным.

«Предостерегаю женщину от ритуальных агентов. Кажется, такие люди, как моя собеседница, в момент эмоционального потрясения — кормовая база для них. <...> Интересно, что сотрудницы как будто бы чувствуют, к кому проявить больше или меньше эмпатии. С расстроенной женщиной слева обходятся мягко, документы за нее заполняет работница отдела. Со мной строже — я задаю вопросы. Мне делают претензию, что мое удостоверение социального работника просрочено на год. <...> Выдают документ ходатайства на „погребение по гарантированному перечню социальных услуг“. Поле с ячейками 5×20, где нужно указать, кем приходится человек, написать его ФИО

¹⁴ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших» (ГБУ ССОПУ). Официальный сайт. URL: <https://gbu-ssopu.ru/> (дата обращения: 14.02.2026).



и заполнить даты рядом с буквами ДР (дата рождения) и ДС (дата смерти). Я подумал, что в этих полях проходит вся жизнь человека. Подписываю нужные документы, мне выдают чеки об оплаченных услугах (для морга), назначают дату и время, когда нужно прийти на прощание. Здесь же определяется участок на Южном кладбище города».

Здесь тело превращается в бюрократический объект: серия полей в бумажной форме, где проходит вся жизнь человека. Тело существует как совокупность данных — ФИО, даты рождения и смерти (ДР/ДС), номера справки. Оно лишено биографии, но обретает юридическую легитимность. Фрагмент полевого дневника, 15 октября:

«Я оплатил услуги морга. Все заняло 30 минут. Вся стоимость вышла в 8800 рублей. В квитанции детали. Подготовка тела умершего к погребению — 4500. Вынос гроба — 1300. Фиксация тела в гробу — 3000. Мило пообщались с администратором иэшником. Я решил не торговаться как дьявол, хотя в теории это было возможно. Пока оформлял документы, рассказал ему про жизнь Александра. В процессе понял, что путаю детали его биографии».

То, что у меня вылетели из головы подробности биографии Александра, можно объяснить усталостью и истощением из-за столкновения со смертью клиента. Похожие реакции описаны в исследовании Лейкмана: «Когда умирает подопечный, уязвимость как самого работника, так и других обнажается. Если этой уязвимостью не заниматься должным образом или не прорабатывать этот опыт, люди могут оказаться в ловушке. Они продолжают сталкиваться со смертью через навязчивые воспоминания или же остаются в состоянии повышенной бдительности и тревоги, что подобное может случиться и с другими подопечными» [Lakeman, 2011: 942].

В свою очередь я думаю, что типизация биографий клиентов — это неизбежное следствие «идеологии профессионализма» [Шанин, 2004: 303]. В этом смысле работа сотрудников некоммерческой помогающей организации близка логике государственных институций. Это работа с большим потоком людей, помощь которым затруднена из-за разнообразных, часто непреодолимых препятствий: невозможности установить личность, оказать медицинскую помощь или восстановить документы вследствие неприступности бюрократических стен.

Акт 5. Кладбище. Похороны

Фрагмент полевого дневника, 16 октября:

«В траурном зале три человека: один сосед по комнате, психолог и я. Изначально проститься хотели еще двое. Но у одного начались проблемы со здоровьем, а второго я выселил из приюта за нарушение правил.

Пришел только клиент, который изначально не хотел этого делать. Год назад при пожаре у него погибла мама, и этот морг ему знаком. Но он все же решил приехать проститься. <...> Мы неловко молчим и смотрим то на гроб, то друг на друга. Возлагаем цветы на закрытый гроб, рядом черно-белая фотография, которую я предварительно распечатал. Небольшой зал. Сваренный в круге крест, современная архитектура. Водитель сердито говорит, что пора грузиться. Здравуюсь за руку с ипэшником в халате, у которого оплачивал услуги морга. Он вместе с двумя санитарами грузит гроб в спецмашину».

Та неловкость, которую мы испытали во время прощания, похожа на высказывание Анны Соколовой в работе о советской похоронной культуре: «Наша растерянность перед смертью отчасти обусловлена опытом десемантизации смерти — одним из ключевых процессов в истории советской смертности» [Соколова, 2021: 26].

В нашем случае это еще и ритуальная растерянность: не совсем понятно, что нужно делать и говорить, несмотря на то что люди пришли проститься. Фрагмент полевого дневника, 16 октября:

«Южное кладбище. Быстро и без очереди оформляюсь в администрации. Подъезжаем к нужному участку. Бригадир быстро оценивает меня, мою платежеспособность, простой вид газели социальной службы. Приветливо дает задачу своей бригаде из трех человек достать гроб, выстраивает очередность захоронений¹⁵. Рядом стоит еще пара гробов, все ждут своей очереди. Не пытается мне ничего продать. „Социалка, все понятно“. С другими людьми иначе. Бригадир не копает, руководит и продает. Подслушиваю. Кому-то рекламирует крест за 4 500. Обхаживает. „Здесь самый сухой участок, посмотрите“. Приезжает еще одна машина. Бригада не очень довольна. „Вот е-мае, еще одного“. Очередь доходит до нас. Бригадир командует: „Начинай социалку закапывать!¹⁶“ Другие здесь тоже социалка, но там другой подход, есть провожающие родственники и возможность заработать деньги».

В логике сотрудников кладбища тело бездомного человека существует как «социалка», «безродник», объект санитарной утилизации. Требуется не траур, а лишь выполнение предписанных процедур. В словах: «Начинай социалку закапывать!» — тело лишено даже ритуального статуса. Фрагмент полевого дневника, 16 октября:

«— Костенька, здесь сразу холмик делай красивый. Люди прощаются. Крестик поставят.

— По русскому обычаю, по 3 горсточки бросим чистого песочка! Галина Николаевна, всем вправо!

¹⁵ См. фото из архива автора.

¹⁶ См. фото из архива автора.



— Правой рукой крестимся!

Мне не предлагает, но и я не в обиде.

<...> Две фракции земли: сначала грунт, смешанный с камнями, сверху более мелкий песок. На могилах получают кучи песка из разного материала и степени ровности (наша — похуже). Я кладу цветы рядом с небольшим бетонным прямоугольником (по ГОСТу — 30×40 см примерно), прощаюсь».

Похороны бездомного с точки зрения соцработников

У сотрудников «Ночлежки» раньше не было устойчивой традиции посещать умерших бездомных. На моей памяти впервые это произошло, когда мы написали запрос в архив о недавно умершем клиенте, и нам ответили, указав место захоронения — Северное кладбище. Мы сопоставили данные, написали еще запросы, и поняли, что там же похоронено еще несколько наших знакомых. С 2022 года мы регулярно посещаем Северное кладбище. Берем с собой гвоздики, термос с чаем, алкоголь. В первые посещения я брал псалтырь и читал 23-й Псалом над могилой усопшего (не вслух, из всех участников я один отождествляю себя с христианством), но потом это делать перестал. Фрагмент полевого дневника, ноябрь 2025 года, посещение «наших» на кладбище:

«Интересно фиксировать что-то легкое, светлое в ощущениях от посещения. Видеть красивое в стройном ряду бетонных прямоугольников с именами и без. Вспоминать доброе и смешное, представлять лица. Эта легкость странным образом сохраняется, несмотря на знание о том, какими были последние дни некоторых из наших знакомых. У кого-то это рак; у кого-то одиночество, голод и отказавшие ноги; у кого-то смертельные побои. <...> Нет подходящего слова, ритуала. Есть просто чувство, что так правильно — быть здесь. Правильно и легко»¹⁷.

Так бывает, что в процессе работы с клиентом устанавливается дружеская или приятельская связь. Я хорошо знаю их биографии, книги, которые они любили, их истории. Не всем таким клиентам, однако, получается организовать похороны. Иногда мы узнаем о смерти человека слишком поздно, иногда просто не имеем ресурсов на внерабочие задачи. Так было с одним клиентом, с которым я приятельствовал. Он не проживал в приюте, у него тоже был рак, и я навещал его в больнице, замаскировавшись под врача. Тогда был строгий ковидный режим, но моя подруга, которая работала в больнице, помогала навещать его и делать передачи. Когда он умер, я узнал об этом сразу. Мне звонили и предлагали устроить похороны. Поколебавшись, я отказался, подумав, что имеющиеся небольшие силы я лучше потрачу на работу, а символически прощусь уже на Северном кладбище.

¹⁷ См. [фото из архива автора](#): «наше кладбище», сделанное в это же время.

Несколько раз я посещал похороны, которые устраивали мои коллеги для своих клиентов. Все они проходят по похожему сценарию — это всегда бюрократический квест с повсеместным элементом торга. Один раз коллеге удалось сделать похороны «в открытую» полностью за государственный счет, но это потребовало титанических усилий и нервов. Меняется только состав людей и обстановка зала прощания. В крематории для «социалки» — общий зал, где могут находиться порядка десяти тел, в разное время к ним будут подходить прощаться люди, также как мы, без церемониймейстера. Иногда мы кладем любимые мелочи человека в его гроб. Всегда происходит суэта с документами, которая помогает заполнить неловкую пустоту. Молчание у гроба. Изредка слезы клиентов, пришедших попрощаться. Поминок у нас нет, в приюте запрещено употреблять алкоголь.

В истории с Александром, напротив, я не чувствовал глубокой привязанности или приятельской связи, но взялся за организацию похорон. Я несколько раз путал детали его биографии в разговорах с сотрудниками морга. В моей голове он действительно попал в категорию типичного клиента «Ночлежки», с набором привычных проблем со здоровьем и документами. Интересно, как мы, сотрудники социальной сферы, работаем со своим представлением о должном прощании и отношении к смерти. В чем-то мы похожи на некоторых наших клиентов.

Коммеморацию можно понимать как особый способ социального производства памяти, в котором смерть не просто фактологически фиксируется (например, как закрытие сервисного плана работы с клиентом), а становится поводом для коллективного и институционального производства норм, статусов и отношений принадлежности (в частности, тех, которые не были присущи человеку при жизни из-за его маргинализированного статуса). Создание коммеморативного ритуала социальными работниками — это изобретенная традиция. В концепции Хобсбаума традиция конструируется и поддерживается, чтобы придавать устойчивость социальному порядку [Хобсбаум, 2000].

Внутри профессиональных сообществ коммеморация приобретает дополнительное значение, поскольку память о смерти становится частью самой профессиональной идентичности.

Похороны бездомного с точки зрения бездомного

Фрагмент полевого дневника, 15 октября:

«После обеда зашел один из моих клиентов — Олег. Последние тридцать лет он жил без документов в самодельной хижине на окраине города. Его история уникальна тем, что контакт с внешним миром происходил в основном через других поселенцев, обитателей того же мусорного полигона. Жизнь и смерть, знакомство с новыми технологиями — все это происходило в отрыве от большого города, на самой периферии. Поэтому речь и мышление клиента отчасти архаичны, многие бытовые практики (вроде пользования стиральной машиной и поездок на метро)



сложны и вызывают тревогу. Нам удалось сделать ему российский паспорт и оформить инвалидность. Олег — сосед Александра, и я спросил его, хочет ли он проститься с ним в морге. Получил любопытный ответ: — Андрей, что Вы, я никогда в таких местах и не был, на похоронах, нет. У нас гибли люди, человек двести на полигоне, мы закапывали сами, а тут все другое, совсем непонятное мне. Если нужно помочь деньгами, я готов. Я подумал, что практики прощания и обращения с мертвецами встроены в социально сконструированную реальность. В случае Олега нет знакомства с бюрократическим языком, ритуалом, это чуждо его жизненному опыту, в отличие от других бездомных, которые так или иначе встроены в социальные процессы большого города».

Заключение

Социальные похороны можно рассматривать как особую форму коллективной работы с телом умершего, в которой участвуют институциональные агенты: государственные службы, рынок ритуальных услуг и отдельные представители гражданского общества. Каждый из этих агентов «осуществляет» свое измерение тела в рамках своей практики. Эта множественность не отрицает реальности конкретно взятой смерти человека и материального измерения в виде мертвого тела. Тело бездомного человека не разрывается между конкурирующими онтологиями — оно *становится* разным в каждой практике: как объект патологоанатомического исследования в морге, как носитель персональных данных в соцфонде, как «социалка» на кладбище.

Процедура похорон бездомных продолжает логику отношения к бездомным при жизни. Обезличенная процедура погребения завершает процесс стирания маргинализированного индивида, удаление «человеческого отхода» за пределы общества. На каждом этапе подготовки похорон происходит трансформация тела: на биологическом, юридическом и социальном уровнях. Условия, состояние здоровья, близость с людьми влияют на продолжительность и качество жизни. Юридический статус также влияет на то, что будет с человеком после смерти. Так называемое лицо БОМЖ («безродник») получает право на социальные похороны и место в специально отведенной части кладбища. Примечательная деталь связана с трансформацией категорий, в которой действует логика «человеческих отходов». При жизни лицом БОМЖ может быть только гражданин РФ с паспортом, отсутствием регистрации и собственности, ему становится доступен небольшой набор государственной поддержки (вроде уже упомянутых домов ночного пребывания). Бездомные с другими жизненными ситуациями, документами или имеющейся регистрацией в государственную категорию не попадают. Зато все вместе после смерти оказываются в более широкой категории «безродников», им становится доступно последнее государственное благо в виде участка земли 1,5×2 м. Для кого-то это будет первым и последним постоянным местом жительства.

Растерянность перед смертью следует за переживанием растерянности перед жизнью. Социальные работники видят разнообразные нерешаемые проблемы: структурное неравенство, бюрократические препятствия, нехватку экспертизы о бездомности. Это ощущение бесконечных трудностей сопряжено с экзистенциальной опустошенностью, невозможностью испытать горе после смерти человека, с которым много работал и общался, стиранием из памяти его характерных черт и истории жизни. При жизни человека социальные работники формируют понятие достоинства, которое противостоит институциональной логике «человеческих отходов». После его смерти они пытаются придать ему то же достоинство — через организацию похорон и дальнейшие коммеморативные ритуалы. В каком-то смысле практика организации похорон (а затем и практика коммеморации) может являться способом проживания смерти в действии. Это попытка создания личностной онтологии умершего в условиях редуцированного эмоционального проживания. Она противостоит, но не может полностью перекрыть институциональную логику удаления маргиналов за пределы внимания. Моя двойственная позиция (соцработник-антрополог) не позволяет мне занять романтизированную позицию защитника. Напротив, я обнаруживаю в себе черты институционального обезличивания: типизация клиентов, путаница в биографических деталях, экзистенциальная пустота вместо скорби. Я думаю, что это особенность работы в «мертвой зоне бюрократии». Сопротивление обезличиванию невозможно без признания собственной включенности в систему. Коммеморативная практика становится коллективной работой по преодолению деперсонализации.

Роберт Герц в своей книге о значении смерти как о пересборке социума пишет: «В конечном счете смерть как общественный феномен представляет собой двунаправленный и болезненный процесс мысленного разрушения и синтеза. И лишь когда этот процесс завершен, социум, вновь обретя покой, может праздновать победу над смертью» [Герц, 2019: 231]. Происходит ли в описанном кейсе пересборка общества? Нет, похороны бездомного человека находятся на обочине общественной жизни. Но они могут оказаться значимым событием для малой части профессионального сообщества, работающей с уязвимыми группами; для тех, кто знал человека лично и пришел отдать дань памяти. Теодор Шанин писал, что помощь социального работника должна привести к тому, чтобы клиент больше не нуждался в ней [Шанин, 2024: 162]. В каком-то смысле это происходит после смерти.

Литература / References

- Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992.
 Aries F. (1992) *Chelovek pered licom smerti* [The Hour of Our Death]. Moscow: Progress-Akademiy. (In Russ.)
 Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.
 Bauman Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost* [Liquid Modernity]. SPb.: Piter. (In Russ.)
 Виноградова Г. В. Концепция бездомности как процесс маргинализации личности: направления и уровни // Социология. 2021. № 3. С. 201–208. EDN: UKDCGA



Vinogradova G.V. (2021) The Concept of Homelessness as a Process of Personal Marginalization: Directions and Levels. *Sociologiya* [Sociology]. No. 3. P. 201–208. (In Russ.)

Герц Р. Смерть и правая рука. М.: ARS Press, 2019.

Hertz R. (2013) *Smert i pravaya ruka* [Death and the Right Hand]. Moscow: ARS Press. (In Russ.)

Гурц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Культурология XX век: Дайджест. 1997. № 1. С. 103–138.

Geertz C. (1997) "Rich Description": In Search of an Interpretive Theory of Culture. *Kulturologiya XX vek: Dajdzhest* [Cultural Studies of the XX Century: A Digest]. No. 1. P. 3–30. (In Russ.)

Коваленко Е., Строкова Е. Бездомность: есть ли выход? М.: Фонд «Институт экономики города», 2013.

Kovalenko E., Strokovaya E. (2013) *Bezdomnost: est li vyhod?* [Homelessness: Is There a Way Out?]. Moscow: Fond "Institut ekonomiki goroda". (In Russ.)

Крихтова Т.М. Видимость и невидимость посетителей центра дневного пребывания «Ангар спасения» // Фольклор и антропология города. 2024. Т. 6. № 4. С. 8–25. DOI: <https://doi.org/10.22394/2658-3895-2024-6-4-8-25> EDN: PAKRKC

Krikhtova T.M. (2024) The Seen and Unseen: Visitors of the "Rescue Hangar". *Folklor i antropologiya goroda* [Urban Folklore and Anthropology]. Vol. 6. No. 4. P. 8–25. DOI: <https://doi.org/10.22394/2658-3895-2024-6-4-8-25> (In Russ.)

Кузинер Е.Н. «Пойду домой, домой это значит в подвал»: повседневные практики и стратегии выживания бездомных женщин // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 258–282. DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1653> EDN: YXVWCG

Kuziner E.N. (2020) "I'll Go Home, Home Means the Basement": Everyday Practices and Survival Strategies of Homeless Women. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i socialnye peremeny* [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 4. P. 258–282. DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1653> (In Russ.)

Кузинер Е.Н. Исследование бездомности: методология, эмоциональная вовлеченность и место исследователя в чувствительных полях // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2024. Т. 16. № 2. С. 69–88. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.2.4> EDN: NGDUFQ

Kuziner E.N. (2024) Issledovanie bezdomnosti: metodologiya, emocional'naya vovlechenost' i mesto issledovatelya v sensitivnyh polyah [Homelessness Research: Methodology, Emotional Involvement, and the Researcher's Position in Sensitive Fields]. *Interakciya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 16. No. 2. P. 69–88. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.2.4> (In Russ.)

Мальков М.Д., Ченцова А.А. Логика взаимодействия с бездомными людьми на московских вокзалах // Пути России. 2024. Т. 2. № 4. С. 70–99.

Malkov M.D., Chencova A.A. (2024) Logics of Interaction with Homeless People at Moscow Railway Stations. *Puti Rossii* [Paths of Russia]. Vol. 2. No. 4. P. 70–99. (In Russ.)

Метелева Е., Волкова О., Бирюкова С., Алексеева Л. Решение проблемы бездомности: модель социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства в регионе // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 1. С. 170–192. DOI: <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-1-170-192> EDN: QZPHXI

Metelleva E., Volkova O., Biryukova S., Alekseeva L. (2022) Solving the Homelessness Problem: Model of Social Adaptation and Re-Socialization of Homeless People in a Region. *Voprosy gosudarstvennogo i municipalnogo upravleniya* [Public Administration Issues]. No. 1. P. 170–192. DOI: <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-1-170-192> (In Russ.)

Мол А. Множественное тело: онтология в медицинской практике. Пермь: HylePress, 2017.

Mol A. (2017) *Mnozhestvennoe telo: ontologiya v medicinskoj praktike* [The Body Multiple: Ontology in Medical Practice]. Perm: HylePress. (In Russ.)

Мохов С. В. Рынок ритуальных услуг в современной России: поломка похоронной инфраструктуры как властный ресурс // Социология власти. 2016. Т. 28. № 4. С. 83–103. DOI: <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2016-4-83-103> EDN: XIQDIL

Mokhov S.V. (2016) Death Care Industry In Modern Russia: Breakdown of Infrastructure as Power Resource. *Sociologiya vlasti* [Sociology of Power]. Vol. 28. No. 4. P. 83–103. DOI: <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2016-4-83-103> (In Russ.)

Мохов С. В. Похоронная индустрия: роль инфраструктуры в создании национальных моделей // Социологический журнал. 2017. Т. 23. № 4. С. 51–68. DOI: <https://doi.org/10.19181/socjour.2017.23.4.5528> EDN: YLBEKB

Mokhov S.V. (2017) The Burial Industry in Comparative Perspective: How Infrastructure Creates National Models. *Sociologicheskii zhurnal* [Sociological Journal]. Vol. 23. No. 4. P. 51–68. DOI: <https://doi.org/10.19181/socjour.2017.23.4.5528> (In Russ.)

Соколова А. Новому человеку — новая смерть? Похоронная культура раннего СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

Sokolova A. (2021) *Novomu cheloveku — novaya smert'? Pohoronaya kultura rannego SSSR* [A New Death for a New Man? Funeral Culture of the Early USSR]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Уорнер У. Живые и мертвые. М.; СПб.: Университетская книга, 2000.

Warner W. (2000) *Zhivye i mertvye* [The Living and the Dead]. Moscow; SPb.: Universitetskaya kniga. (In Russ.)

Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47–62.

Hobsbawm E. (2000) Inventing Traditions. *Vestnik Evrazii* [The Invention of Tradition]. P. 1–14. (In Russ.)

Цацура Е. А., Осаволук А. А. Распространенность опыта бездомности среди россиян (оценка на основе ретроспективного опроса) // Социологические исследования. 2024. Т. 3. № 3. С. 83–93. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0132162524030077>

Cacura E. A., Osavolyuk A. A. (2024) Prevalence of Homelessness in Russia: an Assessment Based on a Retrospective Survey. *Sociologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. Vol. 3. No. 3. P. 83–93. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0132162524030077> (In Russ.)

Шанин Т. Социальная работа как культурный феномен современности: новая профессия и академическая дисциплина в контексте социальной теории и политической практики наших дней // Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. М.: Академия, 1997. С. 100–115.

Shanin T. (1997) Social Work as a Cultural Phenomenon of Our Time: A New Profession and Academic Discipline in the Context of Social Theory and Political Practice of Our Days. In: *Vzaimosvyaz sotsialnoy raboty i sotsial'noy politiki* [The Interrelation of Social Work and Social Policy]. Moscow: Academia. P. 100–115. (In Russ.)

Шанин Т. Социальная работа: идеология профессионализма // Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2. № 3. С. 303–328. EDN: HFVAGT

Shanin T. (2004) Social Work: The Ideology of Professionalism. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki* [Journal of Social Policy Studies]. Vol. 2. No. 3. P. 303–328. (In Russ.)

Шанин Т. Стать Теодором. М.: Новое литературное обозрение, 2024.

Shanin T. (2024) *Stat Teodorom* [Becoming Theodore]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Шульц А. В тени мегаполиса: способы использования городского пространства бездомными людьми (на примере Москвы) // Пути России. 2024. Т. 2. № 4. С. 15–41.

Shulc A. (2024) In the Shadow of the Megacity: Ways of Using Urban Space by Homeless People (The Case of Moscow). *Puti Rossii* [Russia's Directions]. Vol. 2. No. 4. P. 15–41. (In Russ.)

Яхно Л. В. Общественное пространство для бездомных: образ Курского вокзала в Москве // Пути России. 2024. Т. 2. № 4. С. 42–69.



- Yahno L.V. (2024) Public Space for the Homeless: The Image of Kursky Station in Moscow]. *Puti Rossii* [Russia's Directions]. Vol. 2. No. 4. P. 42–69. (In Russ.)
- Anderson N. (1923) *The Hobo: The Sociology of the Homeless Man*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bauman Z. (2013) *Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts*. New York: John Wiley & Sons.
- Becker H.S., Gans H.J., Newman K.S., Vaughan D. (2004) On the Value of Ethnography: Sociology and Public Policy — A Dialogue. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 595. No. 1. P. 264–276. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716204266599>
- Busch-Geertsema V., Culhane D., Fitzpatrick S. (2010) Defining and Measuring Homelessness. *Homelessness Research in Europe: Festschrift for Bill Edgar and Joe Doherty*. P. 19–39.
- Cloke P., May J., Johnsen S. (2010) *Swept Up Lives? Re-Envisioning the Homeless City*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Graeber D. (2012) Dead Zones of the Imagination: On Violence, Bureaucracy, and Interpretive Labor. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*. Vol. 2. No. 2. P. 105–128.
- Höjdestrand T. (2011) *Needed by Nobody: Homelessness and Humanness in Post-Socialist Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hopper K. (1991) Homelessness Old and New: The Matter of Definition. *Housing Policy Debate*. Vol. 2. No. 3. P. 755–813. DOI: <https://doi.org/10.1080/10511482.1991.9521072>
- Lakeman R. (2011) How Homeless Sector Workers Deal with the Death of Service Users: A Grounded Theory Study. *Death Studies*. Vol. 35. No. 10. P. 925–948. DOI: <https://doi.org/10.1080/07481187.2011.553328>
- Lancione M. (2016) Racialised Dissatisfaction: Homelessness Management and the Everyday Assemblage of Difference. *Transactions of the Institute of British Geographers*. Vol. 41. No. 4. P. 363–375. DOI: <https://doi.org/10.1111/tran.12133>
- Laqueur T.W. (2016) *The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains*. Princeton: Princeton University Press. DOI: <https://doi.org/10.1515/9781400874514>
- Lipsky M. (1971) Street-Level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform. *Urban Affairs Quarterly*. Vol. 6. No. 4. P. 391–409. DOI: <https://doi.org/10.1177/107808747100600401>
- Lloyd C., King R., Chenoweth L. (2002) Social Work, Stress and Burnout: A Review. *Journal of Mental Health*. Vol. 11. No. 3. P. 255–265. DOI: <https://doi.org/10.1080/09638230020023642>
- Park R.E. (1915) The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment. *American Journal of Sociology*. Vol. 20. No. 5. P. 577–612. DOI: <https://doi.org/10.1086/212433>
- Platt J. (1992) “Case Study” in American Methodological Thought. *Current Sociology*. Vol. 40. No. 1. P. 17–48. DOI: <https://doi.org/10.1177/001139292040001004>
- Rossi P.H. (1989) *Down and Out in America: The Origins of Homelessness*. Chicago: University of Chicago Press.
- Snow D.A., Anderson L. (1993) *Down on Their Luck: A Study of Homeless Street People*. Berkeley: University of California Press.

Сведения об авторе:

Чекрыгин Андрей — независимый исследователь, специалист по социальной работе МБОО «Ночлежка», Санкт-Петербург, Россия. E-mail: chekr96@gmail.com. ORCID ID: 0009-0003-4787-1671.

Статья поступила в редакцию: 14.02.2026

Принята к публикации: 01.06.2026

BAK: 5.4.4

.....

“The Work of the Dead”: How Social Funerals for the Homeless Work in St. Petersburg

DOI: 10.19181/inter.2026.18.3.5

Andrey A. Chekrygin *Independent Researcher, St. Petersburg, Russia*
E-mail: chekr96@gmail.com

This article analyzes the experience of organizing social funerals for homeless people in St. Petersburg. The author combines two positions: as a practicing social worker at the charitable organization “Nochlezhka” and as an anthropological researcher. This combination of roles allows for access to a difficult and ethically complex field. The ethnographic study is based on field diaries, interviews, and document analysis. The goal of the study is to trace how various actors interact with the body of a deceased person who cannot be cared for by close relatives. By organizing social funerals, key actors shape the posthumous arrangement of bodies in urban space and beyond: those are the state, the funeral services market, and civil society. Their collaboration occurs as a recurring dramatic performance with predetermined scenarios, within which the death of a homeless person acquires a specific bureaucratic and social status. Moving between institutions, the body takes on different forms: a beneficiary in a non-profit organization, a subject of autopsy in a morgue, a carrier of personal data in a government agency, or a “sotsialka” for cemetery workers. Social workers, constantly confronted with crisis and stressful situations, consider the death of their clients as part of their daily work routine and sometimes are unable to respond to it as a loss. At the same time, they experience confusion and emptiness where emotions of loss are expected — and they fill this space with bureaucratic work that extends beyond their professional duties, as well as invented commemorative practices.

Keywords: social work; funerals; commemoration; homelessness; institutional logic; bureaucracy

Author Bio:

Andrey A. Chekrygin — Independent Researcher, Social Work Specialist, Charity Nochlezhka, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** chekr96@gmail.com. **ORCID ID:** 0009-0003-4787-1671.

Received: 14.02.2026
Accepted: 01.06.2026



Интеракция. Интервью. Интерпретация

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(ЭЛ № ФС 77-73688 от 14 сентября 2018 г.)

Учредители – Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
(117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5);
Российское общество социологов
(117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5);

Главный редактор:
Виктория Владимировна Семенова

Редакция:
Александрина Владимировна Ваньке
Елена Юрьевна Рождественская
Анна Владимировна Стрельникова
Ирина Наумовна Тартаковская

Технический редактор:
Ольга Николаевна Салангина

Компьютерная верстка:
Виталий Евгеньевич Кудымов

Корректор:
Анна Николаевна Кокарева

Журнал «Интеракция. Интервью. Интерпретация» включен в базу РИНЦ, перечень ВАК,
индексируется в международной базе данных RSCI.

Все права на опубликованные материалы принадлежат редакции и авторам.

Точка зрения авторов публикуемых материалов
не обязательно отражает точку зрения редакции.

Публикации журнала не могут быть воспроизведены
в любой форме без разрешения редакции.

Требования к оформлению рукописей и порядок подачи статей
изложены на официальном сайте журнала: www.inter-fnisc.ru

2026. Том 18. № 3. Дата выхода в свет 30.08.2026.

Адрес редакции: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5, каб. 513
Тел.: +7 499 128-86-18; e-mail: inter.fnisc@gmail.com

Editorial office: Krzhizhanovskogo str., 24/35, corp. 5, 117218, Moscow, Russian Federation
Ph. +7 499 128-86-18; e-mail: inter.fnisc@gmail.com